

МАСТЕРА ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА



М А С Т Е Р А

П О Э Т И Ч Е

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

**Г. А. АНДЖАПАРИДЗЕ, Н. И. БАЛАШОВ, Е. М. ВИНОКУ-
РОВ, А. А. КОСУРКОВ, Е. М. НИКОЛАЕВСКАЯ, Б. М. ПИ-
ДЕМСКИЙ, О. Н. ШЕСТИНСКИЙ**

ВЫПУСК 31

МОСКВА

С К О Г О П Е Р Е В О Д А

**круг
земной**

СТИХИ

ЗАРУБЕЖНЫХ ПОЭТОВ

В ПЕРЕВОДЕ

**сергея
шервинского**

«РАДУГА» 1985

ББК 85
К 78

ПРЕДИСЛОВИЕ Е. ВИТКОВСКОГО
РЕДАКТОР В. КУЗЬМИНА

Круг земной: Стихи зарубежных поэтов в переводе С. Шервинского. Пер. с разн. яз.; Предисл. Е. Витковского. — М.: Радуга, 1985. — 232 с.

В сборнике переводов крупнейшего советского поэта и переводчика Сергея Васильевича Шервинского представлены переводы античных авторов, поэтов арабского средневековья, французских, немецких, итальянских поэтов XV—XX вв., произведений виднейших румынских, болгарских и словенских поэтов.

К $\frac{4703000000-567}{030(05)-85}$ 69—85

ББК 85

© Составление, предисловие и перевод на русский язык стихотворений, отмеченных в содержании знаком*, издательство «Радуга», 1985

СТРАНСТВИЕ СКВОЗЬ ВЕКА

Сколько всего на свете!

Пабло Неруда

Все, что есть у меня, это голос.

У. Х. Оден

В самом начале шестого века до нашей эры финикийские мореходы совершили беспрецедентное плавание: отправившись из Красного моря вдоль восточного побережья Африки, в три года добрались они, миновав Мадагаскар, до мыса Доброй Надежды, а в следующие три возвратились вдоль западноафриканского берега, через Геркулесовы столбы, через близкородственный финикийцам Карфаген, к себе на родину. Спустя немногие годы само финикийское государство перестало существовать, не оставив ничего значительного из своей, может быть и богатой, литературы в наследство потомкам. Но золотой век соседней Греции был на пороге, через сто лет после возвращения мореходов из великого плавания родился Софокл, а десятилетием позже — Геродот; кстати, именно он и рассказал потомкам о плавании финикийцев.

В наше время настал «золотой век» и для поэзии Мадагаскара. Именно этими вехами, от Софокла до классика мадагаскарской литературы Жана Жозефа Рабеаривелу, начинается и заканчивается книга, которую взял сейчас в руки читатель. Сродни странствию финикийских мореходов переводческий путь Сергея Васильевича Шервинского — через столетия, через моря поэзии. Кстати, пересекая путь финикийских мореходов с жизненной дорогой Шервинского и чисто фактически: день своего семидесятипятилетия он

встретил в Тунисе, среди руин Карфагена. Сама деятельность Шервинского, ныне вступившего с немалыми творческими силами в десятый десяток лет своей жизни (часто ли вообще нам приходится слышать это словосочетание — десятый десяток?), насчитывает уже более семидесяти лет, продолжается и поныне: лишь недавно окончил он работу над полным Катуллом, над новыми переводами из французских поэтов — Бодлера, Верлена, Жамма.

Странствие сквозь века, свой переводческий труд, начал Шервинский еще до первой мировой войны: самые ранние его переводы датированы 1911—1912 годами. Это были переложения Катулла и Леконта де Лиля, и были это работы не ученические, лучшим доказательством чему тот факт, что пролежавшие в письменном столе Шервинского «Буколики» Леконта де Лиля и некоторые переводы из Катулла видят свет лишь теперь — и с очень незначительной правкой. Юный Шервинский выдержал экзамен перед безмерной требовательностью Шервинского 80-х годов и представлен ныне на страницах этой книги.

Однако первую поэтическую и переводческую известность принес Шервинскому 1916 год: именно тогда вышла Брюсовская «Антология армянской поэзии», к работе над которой Брюсов привлек и Шервинского. В том же году тиражом в 150 экземпляров «не для продажи» вышла и первая поэтическая книга Шервинского. Когда же вскоре после революции по инициативе Горького возникло издательство «Всемирная литература», Шервинский был в числе первых привлеченных к этой работе. Издательство ставило своей задачей перевести и издать едва ли не всю мировую литературу. В известной мере этот план был выполнен лишь в 60—70-е годы изданием «Библиотеки всемирной литературы», но нужно отметить, что с первых лет советской власти и по сей день Шервинский вносил и продолжает вносить свой немалый вклад в дело, начатое Горьким и Брюсовым.

Русский язык — один из наиболее богатых языков

мира. Лишь очень и очень немногие языки мира обладают на сегодняшний день своим полным Овидием, Вергилием, Данте, Шекспиром, Мильтоном. Это заслуга прежде всего советской школы перевода — от дореволюционных времен уцелели как неколебимые и пока что не подлежащие конкуренции памятники вроде Гомера Жуковского и Гнедича или «Песни о Гайавате» Бунина. И именно здесь нужно напомнить читателю о том, что Шервинский подарил нам полного русского Софокла, три четверти Овидия, больше половины Вергилия, полного Катулла, наконец, переводами двух трагедий Еврипида завершил работу над русским переложением этого классика греческой трагедии. То, что Шервинским сделано, — не только само по себе драгоценно, это важно и с еще одной, незримой широкому читателю стороны: новые поколения поэтов-переводчиков могут посвятить свое время переводу того, что по-русски еще не прозвучало — а не бороться с мнимыми достижениями своих предшественников. Ведь как ни много переводов мировой поэзии на наш родной язык и как ни хорошо они сделаны, — непереуведенного, притом едва ли не столь же замечательного, остается больше. Столько всего на свете, столько всего есть в мировой поэзии, что новым переводчикам, надо полагать, всегда будет на что употребить свои силы.

Спор о том, нужно или не нужно вообще заниматься поэтическим переводом, — беспредметен, хотя и по сей день доводится слышать мнение, что читать лучше в оригинале, что надо знать, как в доброй старой классической гимназии, греческий и латынь и читать античных авторов в подлиннике, — не говоря уже об авторах нового времени, писавших на основных европейских языках. Но всех языков не выучить никому, а тому, кто знает их слишком много, по крылатому английскому выражению, как правило, не о чем разговаривать ни на одном. Это две тысячи лет тому назад ссыльный римский гражданин Овидий мог быть человеком одной культуры, римско-греческой, и не удостаивать вниманием никакую другую: не знать, к примеру, что со времени смерти

первого из великих поэтов Китая, Цюй Юаня, прошло уже несколько столетий. Для современного читателя, по мнению Шервинского и далеко не его одного, не могут не существовать арабская культура, культура Индии или Китая. Затертая формула Редьярда Киплинга «Запад есть Запад, Восток есть Восток, и с мест они не сойдут...» цитируется обычно не дальше второй строки. Но куда справедливей было бы приводить цитату, начиная со строки третьей: «Но нет Востока и Запада нет...» — есть же мировая культура, всемирная литература, поэзия всех времен и народов, знакомство с которой необходимо гармонично развитому и всесторонне образованному строителю будущего в наши дни. Поэтому для Шервинского, чьи творческие интересы прежде всего лежат в ареале «средиземноморских культур» — античных Рима и Греции, а также Италии и Франции, — совершенно естественно обращение к восточным литературам: средневековой арабской, современной индийской и малагасийской, не говоря уже об огромном вкладе, внесенном им в дело перевода армянской, грузинской и других литератур народов СССР.

В советской школе перевода с первых дней ее существования Шервинский был в числе учителей, не уставая, впрочем, и сам учиться. Им пройден путь от пресловутой «школы буквализма» 20-х и 30-х годов — вплоть до расцвета поэтического переводческого искусства в 60-е и 70-е годы (о текущем десятилетии говорить можно будет, когда оно закончится). «"Буквализм" — это неудавшаяся точность» — эти слова самого Шервинского представляют собой наиболее исчерпывающий ответ на упреки, брошенные ему за последние десятилетия, упреки в том, что в тридцатые годы он был «буквалистом». В своих переводах Шервинский всегда стремился быть точным — иначе говоря, возможно более близким к тексту оригинала, не жертвуя при этом ни граном русской поэзии. Именно стремлением приблизиться к оригиналу и улучшить поэтические достоинства своего переложения «Метаморфоз» руководствовался Шервинский, когда,

уже в семидесятые годы, выполнил почти заново перевод эпической поэмы Овидия, впервые увидевшей свет почти сорок лет назад. Не смена творческих принципов была причиной недовольства прежним вариантом (переработал Шервинский и своего Вергилия, и многое другое), а возросшие требования к самому себе. Именно здесь представляется уместным сказать о Шервинском как о создателе совершенно особой в нашем поэтическом переводе школы.

Пора уже отправить в архив разговоры о «преодоленном буквализме», чуть ли не единственным грустным памятником которому останется, кажется, «Энеида» Брюсова; метод этот не нашел и не мог найти продолжателей, а быть младшим современником Брюсова, даже его другом и учеником — еще не значит быть продолжателем его лабораторных опытов. Как художника ценят по взлетам, так и школу — по ученикам, и лучшие «выпускники» советской школы перевода дают нам право говорить о ней с гордостью. Кроме того, оценка всякой школы определяется разнообразием дарований ее учеников, непохожестью на учителей, лишь поэтому мы говорим о «школе», а не о «мастерской», где ученики проходят «натаску». Много маленьких Леонардо да Винчи никак не заменят нам самого Леонардо, и вся мастерская Рембрандта не стоит, увы, одного «Возвращения блудного сына». Когда же мы говорим о Шервинском, то налицо именно его школа, достаточно вспомнить книги, вышедшие под его редакцией: «Поэты Далмации XV—XVI веков», «Итальянская лирика XX века», «Потерянный рай» Мильтона и многие другие, — чтобы увидеть калейдоскоп имен, предстающих на страницах этих книг: Элисбар Ананиашвили, Евгений Солонович, Александр Ревич, Ассар Эппель.

На сегодняшний день стала уже «вчерашним достижением», в значительной мере подлежащим изживанию, созданная после Великой Отечественной войны практика так называемой «золотой латыни перевода», метода, когда поэт любой страны и любого времени в переводах одного

и того же мастера изъясняется на совершенно одинаковом, разумеется, образцово чистом и эпиграмматически легком языке. Сейчас не вызывает сомнений, что различные авторы должны в своей русской версии и говорить по-разному. Короче говоря, от переводчика требуется то, чего так трудно требовать в театре от актера: умение работать в совершенно различных амплуа. Достаточно сравнить Катулла Шервинского с его же Полем Валери, Софокла — с Рабиндранатом Тагором, чтобы убедиться: именно Шервинским, а также, пожалуй, Бенедиктом Лившицем, Михаилом Лозинским, Георгием Шенгели заложены в советское время основы подобного подхода к поэтическому переводу.

Шервинский всегда пытается воскресить голос поэта, в этом важнейшая особенность его мастерства. Он работает и постоянно прислушивается к тому, что выходит из-под его пера; иной раз и редактирует других прямо с голоса, что необычайно облегчает сотрудничество с ним как с редактором. По словам Теофиля Готье — голос умирает больше всего. В переводах Шервинского именно голос — не умирает. Вообще звучание стиха, то, как прозвучит произведение, прочитанное вслух, — едва ли не самая сильная сторона дарования Шервинского. Без изучения его опыта уже не может сегодня работать ни один поэт-переводчик. Не зря же С. В. Шервинский — профессиональный режиссер, автор ценнейшей книги «Художественное чтение» (1933), превратившейся в настольное пособие для артистов и чтецов. Звучание поэтического слова всегда стояло у Шервинского во главе угла, именно на этом камне, отвергнутом иными далеко не бездарными мастерами, возвел Шервинский огромное здание своего поэтического и переводческого мастерства.

Счастлив живописец: есть у него возможность творчески повторить своей рукой то, что привлекло его в полотнах другого мастера. В творчестве Ван Гога, скажем, «копии» составляют даже отдельный, самостоятельный жанр. Поэту-переводчику открывается та же возможность в обще-

нии с иноязычной литературой. И поэт, и художник должны быть в этом случае подлинными мастерами (иначе вместо повторения возникнет или ремесленная копия, или дурное подражание). При этом велика и доля ответственности «повторяющего», случалось в истории так, что произведения Зенона доходили к потомкам лишь в переводе на армянский язык, а «Битва при Ангиари» Леонардо да Винчи известна нам по копии работы Рубенса. И голоса античных поэтов, воскрешенные Шервинским, — верная гарантия долгожительства оригиналов.

Чуть ли не всех виднейших поэтов Древнего Рима переводил на русский язык Шервинский, и прекрасным дополнением к этой работе стал недавно изданный — но выполненный более полувека тому назад — перевод книги «Поцелуи», написанной одним из последних поэтов-латинистов нового времени Иоанном Секундом, младшим современником и соотечественником великого нидерландца Эразма Роттердамского. Возрожденческая Европа еще писала на латыни, но языки нового времени, прежде всего итальянский и французский, уже дали миру своих лучших поэтов — Данте, Петрарку, Ариосто, Ронсара, Дю Белле и многих других. Немало произведений этих и других поэтов тех же литератур перенес на русскую почву Шервинский. Поэзия на романских языках, ведущих свое происхождение из латыни, столь же близка Шервинскому, как и античная. Отсюда — прямой путь к современной поэзии на тех же языках, к Палацески, Жамму, Верхарну, к замечательному поэту-малагасийцу Рабеаривелу, тоже писавшему по-французски. А дальше — путь в румынскую, другие балканские литературы во всем их разнообразии. Стихия Шервинского — прежде всего поэтическая драма и эпос, от Софокла до Расина, от Овидия до «Давида Сасунского». Несмотря на разнообразие эпох и народов, читатель встретит на страницах этой книги, представляющей собою творческий отчет за почти три четверти века, удивительную последовательность в отборе произведений для перевода; относительным исключением

здесь может казаться лишь суггестивная поэзия Поля Валери и новейших итальянских поэтов. Как правило, все, что переведено Шервинским, кажется прямо так и родившимся на русском языке в строгих латах поэтической формы — от прихотливых античных ритмов до «Венка сонетов» Франце Прешерна. О вкладе Шервинского в русский гекзаметр можно бы написать отдельную статью; одним из немногих среди поэтов XX века разрабатывал Шервинский русский силлабический стих. В 1924 году вышла его книга оригинальных стихотворений, написанных силлабикой, «Стихи об Италии» — и почти через шестьдесят лет издательство «Советский писатель» опубликовало «Стихи разных лет», объединившие большую часть его оригинального поэтического творчества, доказавшие, что всю свою долгую жизнь Шервинский был и остался еще и прекрасным поэтом, — как и в поэтическом переводе, «дозревшим» (по словам самого Шервинского) до подлинно высокого уровня лишь в те годы, когда большинство писателей отправляется писать мемуары. Мемуаров, кстати, Сергей Васильевич написал немного, часть их будет собрана в выходящем вскоре в Армении томе избранных произведений Шервинского. Может быть, просто не хватало у него времени на подобное занятие — не хватало как у поэта, переводчика, редактора, ученого, учителя? Так и остаются по сей день не записанными его блестящие устные рассказы-воспоминания о Волошине, Пастернаке, Кузmine. Начав как серьезный историк образительного искусства в предреволюционные годы, был Шервинский и театральным режиссером, и театроведом, и литературоведом, автором статей о «Слове о полку Игореве» (и, кстати, автором перевода этого памятника), а также работ о Пушкине. Ему принадлежит и увлекательнейший роман «Ост-Индия», сюжет которого взят из нидерландской истории XVII века; не зная нидерландского языка, Шервинский смог создать столь полноценное историческое полотно, что по сей день специалисту нечего исправлять в этом романе, кроме мелких изменений в чтении голландских

имен. И все же прежде всего — Шервинский был и остается поэтом.

«Кому из нас под старость день лица торжествовать придется одному?» — спрашивал Пушкин. Для поколения поэтов — ровесников Шервинского (он лишь немногим моложе Ахматовой и Мандельштама) ответ на этот вопрос уже есть. Может ли не быть грустно поэту, пережившему чуть ли не всех своих современников? Но какое право имеет грустить поэт, продолжающий свой творческий путь, повторяем, на десятом десятке л е т , — у него ведь еще многое недоделано, недопеределано, даже попросту не сделано. «Как мне жаль иногда, что мне уже не шестьдесят лет! Не семьдесят!» — печально сказал однажды автору этих строк Шервинский. Это ли не истинное счастье творца — сказать подобные слова совершенно искренне. Кстати, переводы из Бодлера, Верлена, Жамма были сделаны им уже после этой беседы.

Возвращаясь к разговору о поэтическом переводе, нельзя забыть и тех, с кем создавал он советскую школу этого искусства в 30-е годы, тех, кого сегодняшние исследователи незаслуженно привалили тяжким камнем «буквализма». «Буквалисты», однако, оставили по себе не так уж и мало ценного. Киплинг Оношкович-Яцыны, Гейне Зоргенфрея, Гёльдерлин Садовского, Шенье Римского-Корсакова — да мало ли их, не переживших Великой Отечественной войны, о ком словами ирландского поэта У. Б. Йетса можно сказать: «Чем стал бы он, дожив до седины?..» Кто угадает — сколь велик был бы вклад этих людей в искусство поэтического перевода, доживи они до наших дней? В каком-то смысле пример Шервинского — ответ на этот вопрос, хотя, быть может, в таком ответе столько же светлого оптимизма, сколько и сожаления, что счастье это выпало едва ли не одному Шервинскому.

Старокитайские мастера говорили, что художник созревает в своем мастерстве лишь к семидесяти годам. Великий японец Хокусай был еще требовательней и предполагал,

что по-настоящему расцветет его дарование в сто двадцать лет. Умер он в 97, не дожив до назначенного абсолюта не столь уж много. Наши старшие современники, художник-абхазец Чачба-Шервашидзе или же италоязычный швейцарский поэт Франческо Кьеза, продолжали свой творческий путь, отпраздновав столетние юбилеи. Долгая жизнь — огромное счастье для того, кто созидает, не оставившись на достигнутом. Среди соратников Шервинского по «высокому искусству» мы находим имена и тех, кто составил новую школу поэтического перевода уже в последние десятилетия. Не нуждаются в рекомендации читателю эти имена — Пастернак, Ахматова, Левик, Штейнберг... Как ни печально констатировать этот факт сейчас, в середине 80-х годов, почти никого из них уже нет в живых. Те, кто еще моложе, кому сейчас, говоря неопределенно, от тридцати до шестидесяти — и оглянуться не успели, как из младшего поколения перешли в среднее и, того гляди, окажутся старшим. Именно им и тем, кто идет за ними, а вместе с ними и читателям так важен сейчас творческий опыт Шервинского, идущего своей, отличной от прочих, нелегкой дорогой к недостижимо близкой вершине мастерства.

Е. Витковский

Из античной поэзии

Софокл

(ок. 496 — 406 до н. э.)

Из трагедии «Эдип в Колоне»

Стасим первый

Хор. Строфа 1

Странник, в лучший предел страны,
В край, конями прославленный,
К нам ты в белый пришел Колон.
Звонко здесь соловей поет
День и ночь, неизменный гость,
В дебрях рощи зеленой,
Скрытый под сенью
Плюща темнолистного
Иль в священной густой листве,
Тысячеплодной
И вечно бессолнечной,
Зимним дыханием
Не овеваемой,
Где вдохновенный
Блуждает восторженно
Вахх-Дионис,
Провожаемый хором
Бога вскормивших богинь.

Антистрофа 1

Здесь, небесной впоен росой,
Беспреданно цветет нарцисс —
Пышноцветный спокон веков
Превеликих богинь венец

И шафран золотой. Ручьи
Не скудеют, бессонны,
И льется Кефис
Неутомимо,
Мчится током стремительным,
Плодотворящий,
К равнине уносится
И орошает
Страну двоегрудую
Чистым теченьем.
Ее возлюбили
Муз хороводы
И Афродита
С золотыми вожжами в руках.

Строфа 2

Есть тут дерево
Несравненное —
Не слышал о нем
Я ни в Азии,
Ни на острове
На Пелоповом,
У дорян,
И не сажено,
И не сеяно
Самородное
Устрашение
Копий вражеских —
И цветет у нас
В изобилии:
Сизолистая маслина,
Воскормительница детства.
И никто — ни юный возрастом,
Ни обремененный годами —
Ствол ее рукой хозяйской
Не осмелится срубить.

Око Зевса-Покровителя
И Афина синевзорая
Вечно дерево священное
От гибели хранят.

Антистрофа 2

А еще у нас
В граде-матери
Есть не меньшая
Слава гордая,
Испоконная,
Дар великого
Божества:
То коней краса,
Жеребят краса
И прекрасный труд
Мореплаванья.
Ты, о Крона сын,
Посейдон-отец,
Край прославил!
Здесь смирительницу пыла —
Для коня узду он создал.
И корабль на мощных веслах
Здесь впервые волей бога
Дивно по морю помчался,
Повинуясь силе рук,
На волнах заколыхался,
И его сопровождала
Стая легкая стоногая —
Нереиды, девы волн.

Из трагедии «Трахинянки»

Парод

Хор. Строфа 1

Ты, кого ночь порождает,
Звездный теряя убор,
А засияв — провожает ко сну,
Пламенный Гелий, о Гелий, м о л ю , —
Ты мне поведай о сыне Алкмены:
Где же скитается он?
Молви мне, бог лучезарный,
У каких лукоморий он медлит?
Или желанный приют он обрел
В чужедальнем краю?
Мне ответствуй, о зоркий из зорких!

Антистрофа 1

Вижу: скорбя неутешно
Долгие ночи и дни,
Единоборством добытая встарь,
Сирою птицей сидит Деянира;
Тяжко тоскует она и не в силах
Горькие слезы унять.
Страх за супруга-скитальца
На ложе, давно одиноком,
Вечной тревогой терзает ее.
Горемычной, ей дан
Неминуемой участи жребий.

Строфа 2

Как бесчисленные волны
Под Бореем или Нотом
Набегут в открытом море
И, нахлынув, вновь уйдут,

Так и Кадмова сына
То потопит, то вынесет
Жизни море бездонное —
Многотрудная зыбь.
Но его отводят боги
От обители Аида,
Безупречного стрелка.

Антистрофа 2

Выслушай упрека слово:
По-иному смею думать.
Упование благое
Надо в сердце нам хранить.
Царь Кронид вседержавный
Не давал испокон веков
Роду, смерти подвластному,
Лишь безоблачных дней.
Нынче горе, завтра счастье —
Как Медведицы небесной
Круговой извечный ход.

Эпод

В жизни все непостоянно:
Звезды, беды и богатство.
Неустойчивое счастье
Неожиданно исчезло,
Миг — и радость возвратилась,
А за нею — вновь печаль.
Помни же закон всеобщий
И надейся, о царица!
Разве видано от века,
Чтобы к чадам земнородным
Зложелателен был Зевс?

Из трагедии «Филоктет»

Пролог

Одиссей

Вот и омытый морем дикий Лемнос —
Безлюдная, пустынная земля.
Здесь, о Неоптолем, дитя Ахилла,
Храбрейшего из греков, мной когда-то
Оставлен был мелиец, сын Пеанта,
С больною, загноившейся ногой —
Начальствующим был на то приказ:
При нем свершать уж не могли мы с миром
Ни жертв, ни возлияний — так вопил он
На весь военный стан, стонал и беды
Накликивал... Но для чего о прошлом
Рассказывать? Не время многословить,
Прознает он, что прибыл я, — тогда
Прощай вся хитрость: упушу его.
Итак, теперь ты должен мне помочь:
Ступай и посмотри, где здесь пещера
О двух отверстиях — солнце в холода
Там пригревает с двух сторон, а летом
Спать хорошо при легком сквозняке.
Пониже, слева, — если только цел он —
Найдешь источник ключевой воды.
Потом вернись тихонько сообщить,
Здесь он живет иль где-нибудь подальше.
А я тебе, что надо, доскажу,
И, сговорившись, завершим мы дело.

Неоптолем

Царь Одиссей, задача не трудна:
Мне кажется, я вижу ту пещеру.

Одиссей

Где видишь? Ниже или над собой?

Неоптолем

Вверху... но тихо все, шагов не слышно.

Одиссей

Вглядись: он не лежит ли там, не спит ли?

Неоптолем

В пещере пусто, нет там никого.

Одиссей

Но видно ли, что все же в ней живут?

Неоптолем

Там ворох листьев — видимо, ночуют.

Одиссей

Пещера остальная вся пуста?

Неоптолем

Вон кубок деревянный самодельный
Работы неискusной... и огниво.

Одиссей

Да, это он сокровищ накопил...

Неоптолем

Ах, что это? Какие-то лохмотья
На солнце сохнут: гной их пропитал.

Одиссей

Сомненья нет — он здесь живет... и сам
Поблизости... С ногою, столько лет
Недужною, не отойдешь далеко.

Он, верно, вышел пищи поискать
Иль травы рвет, смягчающие боль.

(Указывая на моряка, спутника Неоптолема.)

Отправь его разведать: коль врасплох
С ним встретимся, меня охотней сгубит,
Чем всякого другого из аргивян.

Неоптолем *(моряку)*

Ступай!

(Одиссею)

Дорога будет под надзором.
Так продолжай, что ты хотел сказать.

Одиссей

Ахиллов сын, ты прибыл ради дела,
Где мало быть могучим храбрецом.
Услышишь то, чего не знал ты раньше.
Способствуй мне — ты должен мне помочь.

Неоптолем

Приказывай.

Одиссей

Так слушай: Филоктета
Ты должен хитрой речью обмануть,
когда он спросит, кто ты и откуда,
Ответь: Ахиллов сын, — скрывать не надо...
Скажи, что ты плывешь домой, покинув
Стан эллинов, что их ты ненавидишь.
Что к ним прибыть тебя молили сами,
Иначе, мол, не взять им Илиона, —

Когда же ты потребовал по праву
Доспех отца, то в просьбе отказали
И Одиссею отдали его.
Брани меня всю и сколько хочешь,
Я не обижусь, — а не кончишь дела,
Так всех аргивян горем порaziшь.
Доколе Филоктетов лук не наш,
Тебе не сокрушить страну Дардана.
Ведь ты не то что я: ты можешь с ним
Беседовать уверенно, спокойно.
Ты плыл под Трою, не давая клятвы,
Не из нужды... В походе первом не был.
А мне нельзя придумывать — к тому же
Коль лук при нем и он меня увидит,
Так мне конец, да и тебе со мной.
Ты должен хитрый выдумать рассказ,
Чтобы похитить лук непобедимый.
Ты, знаю, сын мой, не рожден таким,
Чтоб на обман идти и на коварство, —
Но сладостно... торжествовать победу!
Решись!.. Вновь станем честными... потом...
Забудь же стыд — всего на день один
Доверься мне... а после почитайся
Весь век благочестивейшим из смертных!

Неоптолем

Когда претят мне чьи-либо слова,
Их выполнять мне мерзко, сын Лаэрта!
Я не рожден для подлого лукавства —
Был не таков, по слухам, и отец.
Нет, взять готов я Филоктета силой,
Но не обманом: он с одной ногой
Нас, стольких, одолеть в борьбе не сможет.
Помощник твой боится оказаться
Предателем... Царь, честно проиграть
Прекраснее, чем победить бесчестно.

О д и с с е й

О сын Ахилла, в юности и я
Нескор был на язык и скор на дело.
Но опытнее стал и понял: в мире
Не действия всем правят, а слова.

Н е о п т о л е м

Но ты же мне приказываешь лгать!

О д и с с е й

Ты должен Филоктета взять обманом.

Н е о п т о л е м

Зачем обман — не лучше ль убежденье?

О д и с с е й

Не убедишь... и силой не возьмешь...

Н е о п т о л е м

Он так в своем могуществе уверен?

О д и с с е й

Непобедимым луком сеет смерть.

Н е о п т о л е м

Так, стало быть, и подходить опасно?

О д и с с е й

Лишь с хитростью, как я тебе сказал.

Н е о п т о л е м

Но не считаешь ты, что ложь — позор?

О д и с с е й

Нет — если ложь бывает во спасенье.

Неоптолем

Ты не краснеешь сам от этих слов?

Одиссей

Коль виден прок, так действуй не колеблясь.

Неоптолем

Какой мне прок, что он вернется в Троию?

Одиссей

Пасть может Троя от его лишь стрел.

Неоптолем

Как?.. Стало быть, я не разрушу Троию?

Одиссей

Ни стрелы без тебя, ни ты без них.

Неоптолем

Да... Эти стрелы стоит нам добыть...

Одиссей

Знай: будешь ты вдвойне вознагражден.

Неоптолем

Чем?.. Я, узнав, не откажусь, пожалуй...

Одиссей

И доблестным, и мудрым будешь назван.

Неоптолем

За дело же! И пусть умолкнет совесть!

Одиссей

Но ты запомнил все мои советы?

Неоптолем

О, будь уверен, раз я обещал.

Одиссей

Итак, останься здесь и жди его.
А я пойду, чтоб он меня не видел.
Лазутчика верну я на корабль;
Но если вы задержитесь, обратно
Пришлю сюда того же человека
Под видом корабельщика-купца —
Пускай его он примет за чужого.
Речь хитрую он заведет, мой сын, —
Из слов его все извлекай, что нужно.
Я уйду, теперь — твоя забота.
Пусть нас ведет Гермес — водитель душ
С Афиною, заступницей моею.
(Уходит.)

.....

Филоктет

Поистине несчастный я, богами
Отверженный!.. И слуха об мне
Ни дома нет, ни в остальной Элладе!
А те, кем так безбожно был я брошен,
Смеются, притаюсь... Меж тем недуг мой
День ото дня становится все злей.
О юноша, достойный сын Ахилла,
Ты, может быть, и слышал обо мне:
Владелец я Гераклова оружия,
Я — Филоктет, Пеанта сын. Два брата —
Вожди полков — и кефалленян царь
Предательски здесь бросили меня,
Когда лихой терзал меня недуг,
Лихой укус ехидны смертоносной.

На острове покинули, больного,
Как по пути с омытой морем Хрисы
Их корабли причалили сюда.
Едва приметили, себе на радость,
Что я заснул, устав от сильной качки,
На берегу, в укрытье под скалой,
Уплыли, мне, несчастному, подбросив
Тряпья да снеди малость... им самим
Так пострадать бы!.. Каково мне было
Проснуться после их отплытья, сын!
Как плакал я! Как горестно стонал,
Когда увидел, что суда уходят,
С которыми я прибыл, что со мною
Нет ни души, кто мог бы мне помочь,
Болящему! Смотрел — и ничего
Не находил кругом... одно лишь горе,
Но горя — в изобилье, милый сын!
Так дни за днями шли, и приходилось
Мне самому прокармливать себя
В моем жилище тесном. Этот лук
Мне был кормильцем: диких голубей
Я им стрелял. К тому, что добывала
Стрела, слетев с упругой тетивы,
Я, злополучный, полз ползком, влача
С трудом больную ногу. Нужно ль было
Достать воды иль сучьев наломать —
Зимой мороз не редок, — я, несчастный,
Едва тащился. Не было огня —
Я из кремней насилиу высекал
Сокрытое в них пламя — тем и жил.
В конце концов есть и огонь и кров,
Все, что мне нужно, — нет лишь исцеленья.
Теперь скажу об острове: никто
По доброй воле здесь не бросит якорь.
Здесь некуда причалить мореходу,
Чтоб выгодно поторговать; приюта

Здесь не найти нигде! Кто осторожен,
Сюда не подплывет — случайно разве, —
Кто долго жил, с тем всякое бывало.
Зайдут иные, сыны, — поговорят...
Сочувствуют... Из жалости подбросят
Какой-нибудь еды или тряпья.
Когда ж прошу меня домой доставить,
И слушать не хотят! Я, злополучный,
Десятый год здесь гибну — голодаю
И бедствую, и ест меня болезнь.
Вот что со мною сделали Атриды
И Одиссей! О, пусть пошлют им боги
Так пострадать, как я теперь страдаю!

Еврипид

(ок. 480—406 до н. э.)

Из трагедии «Троянки»

* * *

*

Г е к у б а

На свадьбах факел носишь ты у смертных,
Гефест, но грозен ныне светоч твой,
Он не сулит благого... Дочь — увы! —
Не под мечом, не под копьем аргивян,
Мечтала я, свою ты справишь свадьбу.
Дай факел мне — шатаясь, как менада,
Его не прямо держишь. Ум твой, дочка,
Еще не здоров, ты продолжаешь бредить.
Прочь унесите факелы — не песни
Петь брачные, а слезы должно лить.

К а с с а н д р а

Мать, увенчай меня венком победы
И веселись, что в брак вступлю с царем.
Сама к нему веди, а буду медлить —
Толкай вперед. Коль существует Локсий,
Во мне жену зловещее Елены
Получит царь преславный Агамемнон!
Убью его... И дом его разрушу
В возмездие за братьев и отца...
Но не о всем вещаю — промолчу
О топоре, что шею перерубит
Мне и другим... о матереубийстве...
О том, что сгинет род Атрея... Брак мой

Погубит все... Скажи, о мать, что Троя
Счастливее Эллады... Я в бреду,
Но просветляюсь волей Аполлона...
Из-за одной жены, одной любви —
Из-за Елены — тьму своих сгубили!
А мудрый вождь, гонясь за ненавистным,
Любимейшее отдал — радость дома
И цвет детей — за женщину, с согласия
От брата увезенную, не силой.
На берегах крутых Скамандра пали
Не ради рубежей родной земли,
Но ради Трои. Их сразил Арей —
Детей им не увидеть, пленой
Жена не обернет их: на чужбине
Лежат в земле. И дома тоже горе:
Та умерла вдовицей, та бездетной,
Детей другим растили, и никто
Могильный холм не оросит им кровью.
О да, похвал достоин их поход!
О гнусном лучше умолчать, пусть муза
Мне не внушает о срамном вещать...
Троянцы ж умирали — славный жребий! —
За родину. Кто пал в сраженье, тех
Хоть мертвыми друзья в их дом вносили,
Землей отцов их покрывался прах,
Обряжен теми, чей то долг последний.
А тот, кто оставался в битве жив,
С супругой и детьми бывали дома —
Ахейцы не знавали этих благ.
О Гекторе печалишься — но слушай:
Он встретил смерть как доблестнейший муж,
И этим мы обязаны ахейцам.
Не приплыви они сюда, не знал бы
Он славы. А Парис стал зятем Зевса —
Не то темна была б его родня.
Разумный должен избегать войны,

Но коль пришлось — за родину умри:
Постыдной и прекрасной смерть бывает.
Итак, не убивайся, мать, о Трое
И обо мне, сгублю я ненавистных
Обеим нам супружеством своим.

.....

К а с с а н д р а

Про напасти Одиссея что так долго речь веду?
В путь! Пора! В Аиде браком сочетаюсь с женихом!
Будешь ты темно схоронен, не при свете, ночью темной,
Ты, гордящийся величьем сын царей, данайский вождь!
Будет брошено в долине и мое нагое тело,
Возле горного потока, близ могилы жениха, —
Труп, добыча плотоядных, жрицы Аполлоновой.
О пророческие ленты, ветки бога моего!
Прочь с меня! Не мне отныне радостные празднества.
Я срываю их, покамест эта плоть еще чиста, —
Пусть домчат их крылья ветра до тебя, вещаний бог!..
Где же судно полководца? Я идти должна — куда?
Торопись же, Агамемнон, ветра жди попутного —
Знай: одну из трех Эриний из-под Трои увезешь!
Мать, прощай! Не лей же слезы... Родина любимая!
Братья милые в могилах! Ты, единый нам отец!
Скоро буду в царстве мертвых, но явлюсь в венке победном
Разорившей дом Атридов, Трои злую пагубу!

Гай Валерий Катулл

(ок. 87 — ок. 54 до н. э.)

8

О, перестань сходить с ума, Катулл бедный!
И что погибло, то и почитай гиблым.
Еще недавно были дни твои ясны,
Когда ты хаживал на зов любви к милой,
Которую любил ты крепче всех в мире.
Вы знали разных радостей вдвоем много,
Желанья ваши отвечали друг другу.
Да, правда, были дни твои, Катулл, ясны.
Теперь — отказ. Так откажись и ты, слабый!
За беглой не гонись, не изнывай в горе!
Терпи, скрепись душой упорной, будь твердым.
Прощай же, конечно! Катулл уж стал твердым,
Искать и звать тебя не станет он тщетно.
А горько будет, как не станут звать вовсе...
Увы, преступница! Что ждет тебя в жизни?
Кто подойдет? Кого пленишь красой поздней?
Кого любить ты будешь? Звать себя чьею?
И целовать кого? Кого кусать в губы?
А ты, Катулл, решишь, отныне будь твердым.

Снова теплые дни весна приносит,
 Равноденствия смолкли непогоды
 С дуновением ласковым Зефира.
 Так простись же, Катулл, с фригийским краем,
 С изобильем полей Никеи знойной:
 К знаменитым летим азийским градам!
 Чуя странствия, вновь душа трепещет,
 Для веселых трудов окрепли ноги.
 Расставаться пора, прощайте, други!
 Те, кто вдаль уходил из дома вместе,
 Возвращаются врозь дорогой разной.

11

Фурий и Аврелий, везде с Катуллом
 Рядом вы, хотя бы он был за Индом,
 Там, где бьют в брега, грохоча далече,
 Волны Востока, —

У гирканов, или арабов нежных,
 Или саков, иль стрелоносных парфов,
 Или там, где воды окрасил моря
 Нил семиустый,

Или даже и Альп одолел высоты,
 Где оставил память великий Цезарь,
 Галльский видел Рен и на крае света
 Страшных британнов;

Что бы ни послала всевышних воля,
 Всё вы вместе с ним испытать готовы.
 Передайте ж ныне моей любимой
 Горьких два слова:

Сладко пусть живет посреди беспутных,
Держит их в объятьи по триста сразу,
Никого не любит и только чресла
 Всемнадрывает, —

Но моей любви уж пускай не ищет,
Ей самой убитой, — у кромки поля
Гибнет так цветок, проходящим мимо
 Срезанный плугом!

13

Хорошо ты откушаешь, Фабулл мой,
Если мил ты богам, на днях со мною, —
Только сам принеси с собой получше
Да побольше обед, зови красотку
Да вина захвати и острых шуток!
Если так, хорошо откушать сможешь,
Драгоценный ты мой, — а у Катулла
Весь кошель затянуло паутиной.
Но зато от души любовь получишь
И подарок еще, нежней и тоньше:
Ароматную мазь, моей подруге
Подношенье Венер и Купидонов.
Как понюхаешь, вмиг богов попросишь,
Чтоб ты стал целиком, Фабулл мой, — носом!

70

Милая мне говорит, что меня предпочтет перед всяким,
Если бы даже ее стал и Юпитер молить.
Так, но что говорит влюбленному страстно подруга,
Нужно на ветре писать или быстрой волне.

Чрез моря промчался Атис на бегущем быстро челне
 И едва фригийский берег торопливой тронул стопой.
 Лишь вошел он в дебрь богини, в глубь ее святини проник,
 Он в наитье темной страсти здравый разум вдруг потерял,
 Сам свои мужские грузы напрочь острым срезал кремнем.
 И, тотчас узрев, что тело без мужских осталось примет
 И что рядом твердь земная свежей кровью окроплена,
 Белоснежными руками Атис вмиг схватила тимпан,
 Твой тимпан, о мать Кибела, глас ночных радений твоих,
 И девичьим пятиперстьем в бычью кожу стала греметь.
 Тут же спутницам-менадам так запела, вострепетав:
 «Вверх неситесь, мчитесь роем в лес Кибелы, в горную высь,
 Где владычней Диндимены разбрелись хмельные стада!
 Вы, что, новых мест взыскупя, вдаль изгнанницами ушли,
 Моему ученью вняли и меня признали вождем,
 Алчность моря испытали, всю свирепость бурных пучин,
 Вы, что пол свой изменили, столь Венера мерзостна вам,
 Бегом быстрым и плутаньем взвеселите дух госпожи!
 Нам теперь коснетъ не время, все за мной, за мною скорей!
 Во фригийский дом богини, под ее фригийскую сень,
 Где звенит кимвалов голос, где тимпанов слышится гром,
 Где игрец фригийский громко дует в загнутую дуду,
 Где плющом увиты станы изгибающихся менад,
 Где о таинствах священных вдаль гласит неистовый вой,
 Где вопит вослед богине без пути блуждающий сонм,
 Нет иной для нас дороги. В путь скорее! Ног не жалеть!»
 Так едва пропела Атис, новоявленная жена,
 Так ответил хор вакханок ей трепещущим языком.
 Уж тимпан грохочет легкий, уж звякает полый кимвал.
 И на верх зеленой Иды мчится хор поспешной стопой.
 Их в безумьи, без оглядки, задыхаясь, Атис ведет,
 Ввысь и ввысь, гремя тимпаном, их ведет сквозь темную
 дебрь.
 Так без удержу телица буйно мчится прочь от ярма.

За вождем, себя не помня, девы Галлы следом спешат.
Но едва примчались девы в дом Кибелы, в самый тайник,
Обессиленные, впали без даров Церериных в сон,
Их окутало забвенье, взор смежила томная лень,
И в покое благодатном их затих неистовый пыл.
Вскоре лик золотого Солнца обозрел сиянием дня
Свод эфира, крепь земную и морскую грозную хлябь.
Разогнал ночные тени прозвеневший топот копыт,
И от Атис пробужденной Сон отпрянул и убежал,
И на перси Пасифея приняла его, трепеща.
Из дремотной неги вышла с умиренной Атис душой,
И о всем, что с ней свершилось, в грусти стала думать она:
И рассудком ясным видит, без чего осталась и где,
И назад уже стремится и обратно к морю спешит.
Здесь, увидя ширь морскую и обильно слезы лия,
К милой родине, горюя, одиноко стала взывать:
«Родина, кем создана я, кем была я порождена,
Я ль тебя постыдно брошу, как своих бросает господ
Беглый раб, и к дебрям Иды свой направлю горестный путь?
Буду ль жить, где снег навечный, где морозны логи зверья,
Чтоб в беспмятном порыве подбегать к убежищам их?
В краткий срок, пока от буйства мой свободен бедственный

дух,

Где, в каких широтах мира я тебя представить могу?

Край родной, друзья, угожья, мать с отцом — мне жить ли
без вас?

Форум, стадий, и палестра, и гимнасий — брошу ли их?

Горе, горе! Вечно плакать — вот отныне участь моя.

Кем я не был? Кто я ныне? Сколько я обличей сменил!

Был я мужем, стал я девой, был юнцом, и мальчиком был.

Был я цветом всех гимнастов, и красую был я борцов.

У меня в дверях толпились, стыть порог мой не успевал,

По утрам цветов венками был украшен празднично дом,

В час, когда с восходом солнца полагалось с ложа вставать.

Я ли буду, оскопленный, жить менадой, частью себя?

Мне ль в горах зеленой Иды обитать, где холод и снег?

Я ли дни сгублю молодые у фригийских острых вершин,
Где олень лесной таится, где кочует в чаще кабан?
Что же, что ж я натворила! Как ужасно ныне казнюсь!»
И к ушам богов бессмертных донеслась неожиданная новь.
Тотчас львам своим Кибела отпустила путы ярма
И впряженного ошую тотчас так дразнить начала:
«Прянь, свирепый, поусердствуй, чтобы он в неистовство

впал,

Чтобы вновь в хмельном порыве он вернулся в рощи мои —
Тот, кто в вольности чрезмерной мнит бежать от власти моей,
Бей хвостом бока и спину, плетью собственной хлещи!
Пусть ужасный вновь раздастся по глухим урочищам рев.
На своей могучей вые ржавой гривой страшно тряхни!»
Так рекла Кибела грозно и сняла со зверя ярмо.

Сам свой норов возбуждает зверь свирепый — и побежал!
Влево, вправо он кустарник, мчась, ломает шалой ногой.
Вот уж близок берег пенный, виден мрамор зыби морской.
Лютый зверь за девой мчится и схватить добычу готов.
Но уже в самозабвеньи Атис в дикий лес унеслась.

Там служить своей богине навсегда осталась она.

О Кибела, о богиня, ты, кого на Диндима чтут,
Пусть мой дом обходят дальше, госпожа, раденья твои —
Возбуждай других отныне, приобщай к безумству — других.

Так да свершится, молю! Смотри, предсказаньям счастливым
Вскрытые жилы сулят нам благосклонность богов.
Пенный несите теперь мне Фалерн, что консулов помнит
Давних! Хиосскую кадь освободите от пут.
День восславим вином. Для праздника пусть не стыдятся
Люди быть во хмелю, слабые ноги влачить.
Главное, пусть на пиру все скажут: «За здоровье Мессалы!»
Пусть и в отсутствие здесь вторится имя его!
Ты, о Мессала, хвалу триумфом обрел Аквитанским,
Гордость великая ты предкам небритым своим.
С нами здесь будь и меня вдохнови, пока песнопеньем
Я благодарность свою сельским богам возношу.
Сёла пою и сельских богов: они отучили
Желудем горьким дубов голод людской утолять.
Нас научили они скреплять деревянные брусья,
Дом свой зеленый скрывать в зелень древесной листвы.
Службе впервые они, говорят, быков обучили,
И подвели колесо к первой телеге они.
Дикая кончилась снедь — была посажена яблонь,
Сад плодородный испил вод напоющих ток.
И виноград золотой сок пролил, ногами раздавлен;
Стали с безвредным вином трезвую воду мешать.
Жатву даруют поля, под зноем жарких каникул
Каждое лето земля желтых лишается кос.
В улей весенний пчела полевые цветы переносит,
Чтобы прилежно налить в соты свой сладостный мед.
И землелаз впервой, наскучив старательным плугом,
Верной мерой стал петь сельские строки свои.
И на тростинке сухой, довольный, наигрывать начал
Песнь, чтобы после пропеть, славя венчанных богов.
Вахк! Впервой земледел, подмазанный суриком красным,
Новых не зная искусств, стал хоромы водить.
И лицедею был дан из овчарни — знатная жертва —
Стад предводитель, козел, множа богатства его.
Мальчик впервые тогда, цветов нарвавши весенних,
Сплел венок и своих древних им Лар увенчал.

Чтобы забота была и девушкам нежным в деревне,
Белые овцы несут мягкую шерсть на спине.
Здесь же работа и жен: для них и прялка, и гребень,
Здесь под пальцами их крутится веретено.
Или какая-нибудь ткачиха, во славу Минервы,
Тихую песню поет, гулкий гоняя челнок.
Сам меж стад и отар Купидон, по преданью, родился,
Вырос среди табунов неприрученных коней.
Там он впервые своим упражнялся неопытным луком.
Горе мне! О, как теперь руки умелы его!
Не беспокоит он стад, как бывало, — теперь ему любо
Дев озвлять и мужей смелых себе подчинять.
Он лишает богатств молодого у двери жестокой,
Он велит старику молвить постыдную речь!
Тайно, по воле его, проходя между стражей уснувших,
В сумраке ночи одна к юноше дева спешит.
Шарит дорогу ногой, сама вся исполнена страха,
Руки вперед протянув, чтобы не сбиться с пути.
Горе тому, кого бог терзает нещадно! Но счастлив
Тот, кого осенил благоговеньем Амор.
Будь же на сельском пиру, о благой, но сложи свои стрелы,
Факел пылающий свой дальше отбрось, я молю!
Вам же время пришло воспевать превеликого бога,
Вслух призывайте к стадам, тайно же каждый к себе,
Да, и к себе, не таясь! Толпа веселая шумом все заглушает
И звук флейт фригийских кривых.
Ночь коней запрягла. Материнской вослед колеснице,
Реет, ведя хоровод, звезд белокурых толпа,
И молчаливо идет, крылами темными вея,
Сон, неверной стопой следуют черные сны.

Секст Проперций

(ок. 49—15 до н. э.)

* * *

*

Там, где блаженствуешь ты, прохлаждаешься, Цинтия, —
в Байях, —
Где Геркулеса тропа вдоль по побережью бежит,
Там, где любишься ты на простор, подвластный феспротам,
Или на синюю зыбь у знаменитых Мизен, —
Там вспоминаешь ли ты обо мне в одинокие ночи?
Для отдаленной любви есть ли местечко в душе?
Или какой-нибудь враг, огнем пылая притворным,
Отнял, быть может, тебя у песнопений моих?
Если бы в утлом челне, доверенном маленьким веслам,
Воды Лукрина могли дольше тебя удержать!
Если б могли не пустить стесненные воды Тевфранта,
Гладь, по которой легко, руку меняя, грести...
Лишь бы не слушала ты обольстительный шепот другого,
Лежа в истоме, в тиши, на опустевшем песке!
Только лишь страх отойдет, — и неверная женщина тотчас
Нам изменяет, забыв общих обоим богов.
Нет, до меня не дошло никаких подозрительных слухов...
Только... ты там, а я здесь... вот и боишься всего.
О, не сердись, если я поневоле тебе доставляю
Этим посланием грусть... Но виновата — боязнь.
Оберегаю тебя прилежней матери нежной.
Мне ли, скажи, дорожить жизнью моей без тебя?
Цинтия, ты мне и дом, и мать с отцом заменила,
Радость одна для меня — ежеминутная — ты!

Если к друзьям прихожу веселый или, напротив,
Грустный, — «Причина одна: Цинтия!» — им говорю.
Словом, как можно скорей покидай развращенные Байи —
Много разрывов уже вызвали их берега,
Ах, берега их всегда во вражде с целомудрием женским...
Сгиньте вы с морем своим, Байи, погибель любви!

Публий Вергилий Марон

(70—19 до н.э.)

Из книги «Буколики»

ЭКЛОГА V

Меналк, Мопс.

Меналк

Что бы нам, Мопс, если мы повстречались, искусные оба —
Я — стихи говорить, ты — дуть в тростинки свирели, —
Здесь не усесться с тобой под эти орехи и вязы?

Мопс

Старший ты, и тебя, Меналк, мне слушаться надо, —
Хочешь, сядем в тени, волнуемой легким Зефиром,
Хочешь, в пещеру зайдем. Смотри, как все ее своды
Дикий оплел виноград — везде его редкие кисти.

Меналк

В наших горах лишь Аминт поспорить может с тобою.

Мопс

Что же? — он спорить готов, что и Феб ему в пенье уступит!

Меналк

Первым, Мопс, начинай: о влюбленной спой ты Филлиде;
Вспомни Алкона хвалу или спой про вызовы Кодра.
Так начинай — на лугу за козлятами Титир присмотрит.

Мопс

Лучше уж то, что на днях на коре неокрепшего бука
Вырезал я, для двоих певцов мою песню разметив,
Спеть попытаюсь — а ты вели состязаться Аминту.

М е н а л к

Так же как гибкой ветле не равняться с седою оливей
Или лаванде простой не спорить с пурпурною розой,
Так, по суду моему, не Аминту с тобой состязаться.
Но перестанем болтать, уже мы с тобою в пещере.

М о п с

Плакали нимфы лесов над погибшим жестокою смертью
Дафнисом — реки и ты, орешник, свидетели нимфам, —
В час, как, тело обняв злополучное сына родного,
Мать призывала богов, упрекала в жестокости звезды.
С пастбищ никто в эти дни к водопою студеному, Дафнис,
Стада не вел, в эти дни ни коровы, ни овцы, ни кони
Не прикасались к струе, муравы не топтали зеленой.
Даже пунийские львы о твоей кончине стенали,
Да ф н и с, — так говорят и леса, и дикие горы.
Дафнис армянских впрягать в ярмо колесничное тигров
Установил и вести хороводы, чествуя Вакха;
Мягкой листвою обвивать научил он гибкие копыя.
Как для деревьев лоза, а гроздь для лоз украшенья
Или для стада быки, а для пашни богатой посева,
Нашею был ты красой. Когда унесли тебя судьбы,
Палес и сам Аполлон поля покинули наши.
И в бороздах, которым ячмень доверяли мы крупный,
Дикий овес лишь один да куколь родится злосчастный.
Милых фиалок уж нет, и ярких не видно нарциссов,
Чертополох лишь торчит да репей прозябает колючий.
Землю осыпьте листвою, осените источники тенью,
Так вам Дафнис велит, пастухи, почитать его память.
Холм насыпьте, на нем такие стихи начертайте:
«Дафнис я — селянин, чья слава до звезд достигала,
Стада прекрасного страж, но сам прекраснее стада».

М е н а л к

Богopodobный поэт, для меня твоя дивная песня
Что для усталого сон на траве — как будто при зное
Жажду в ручье утолил, волною стекающем сладкой.

Ты не свирелью одной, но и пеньем наставнику равен.
Мальчик счастливый, за ним вторым ты будешь отныне.
Я же какие ни есть тебе пропою, отвечая,
Песни свои и Дафниса в них до неба прославлю,
К звездам взнесу — ведь и я любим был Дафнисом тоже.

М о п с

Может ли быть для меня, о Меналк, дороже подарок?
Мальчик достоин и сам, чтоб воспели его, и об этих
Песнях твоих Стилихон мне уже с похвалой отзывался.

М е н а л к

Светлый, дивится теперь вратам незнакомым Олимпа.
Ныне у ног своих зрит облака и созвездия Дафнис.
Вот почему и леса ликоваьем веселым, и села
Полны, и мы, пастухи, и Пан, и девы-дриады.
Волк скотине засад, никакие тенета оленям
Зла не помыслят чинить — спокойствие Дафнису любо.
Сами ликуя, теперь голоса возносят к светилам
Горы, овраги, леса, поют восхваления скалы,
Даже кустарник гласит: он бессмертный, Меналк, он
бессмертный!
Будь благосклонен и добр к своим: алтаря вот четыре,
Дафнис, — два для тебя, а два престола для Феба.
С пенным парным молоком две чаши тебе ежегодно
Ставить я буду и два с наилучшим елеем кратера.
Прежде всего оживлять пиры наши Вакхом обильным
Буду, зимой у огня, а летом под тенью древесной,
Буду я лить молодое вино, Ареусии нектар.
С песнями вступят Дамет и Эгон, уроженец ликтейский.
Примется Алфесибей подражать плясанию сатиров.
Так — до скончанья веков, моления ль торжественно будем
Нимфам мы воссылать иль поля обходить, очищаясь.
Вебрь доколь не разлюбит высот, а рыба — потоков,
Пчел доколе тимьян, роса же цикаду питает,
Имя, о Дафнис, твое, и честь, и слава пребудут!

Так же будут тебя ежегодно, как Вакха с Церерой,
Все земледельцы молить — ты сам их к молениям побудишь!

М о п с

Как я тебя отдарю, что дам за песню такую?
Ибо не столь по душе мне свист набежавшего Австра,
Ни грохотание волн, ударяющих в берег скалистый,
Ни многоводный поток, что в утесистой льется долине.

М е н а л к

Легкую эту свирель тебе подарю я сначала.
«Страсть в Коридоне зажег...» — певал я с этой свирелью,
С нею же я подбирал: «Скотина чья? Мелибея?»

М о п с

Ты же мой посох возьми — его Антигену я не дал,
Он хоть и часто просил и в то время любви был достоин.
Посох в ровных уздах, о Меналк, и медью украшен.

ЭКЛОГА VII

Мелибей, Коридон, Тирсис.

М е л и б е й

Как-то уселся в тени под лепечущим иликом Дафнис,
Тирсис меж тем с Коридоном стада воедино собрали,
Тирсис — овец, а коз Коридон, молоком отягченных, —
Оба в цветущей поре, и дети Аркадии оба,
В пенье искусны равно, отвечать обоюдно готовы.

Тут, пока нежные я защищаю от холода мирты,
Стада вожак и супруг, козел затерялся, и тут же
Дафниса вижу, и он меня тоже приметил: «Скорее!

К нам подходи, Мелибей! Козел твой цел и козлята!
Если свободен, присядь отдохнуть в прохладе — не бойся,
По лугу сами сойдут твои к водою коровы.
Мягким здесь камышом зеленые кроет побережья
Минций, и пчел доносится гул из священного дуба». —
Как поступить? Под рукой ни Филлиды нет, ни Алкиппы,
Кто бы ягнят без меня, от вымени отнятых, запер.
Был поединок меж тем — Коридона с Тирсисом — знатный!
Все же я делом своим пренебрег ради их состязанья.
Вот приступили они, на стихи отвечая стихами —
Те, что поются в черед, стихи Пиеридам угодны.
Первым вступил Коридон, отвечал ему в очередь Тирсис.

К о р и д о н

Нимфы, наша любовь, Либетриды! Или вы дайте
Песню такую же мне, как нашему Кодру — стихами
К Фебу приблизился он, — иль, если не всем это впору,
Пусть на священной сосне моя звонкая флейта повиснет.

Т и р с и с

Вы увенчайте плющом, пастухи, молодого поэта —
Пусть же у Кодра кишки от зависти лопнут, — но если
Станет расхваливать он чересчур, наперстянкой натрите
Лоб мне, чтобы певца он не сглазил своими хвалами.

К о р и д о н

Деляя, мальчик Микон шелковистую голову вепря
Дарит тебе и, как ветви, рога матерого оленя.
Мне бы добычу его — изваянием мраморным встанешь,
Ноги обвяжут тебе пунцовых шнуровки котурнов.

Т и р с и с

Только сосуд с молоком да лепешку тебе ежегодно
Буду я ставить, Приап: ты сада скромного сторож.
Мраморный ты у меня, но до времени: если приплодом
Стадо умножишь мое, целиком ты из золота будешь.

К о р и д о н

Ты, о Нереева дочь, Галатея, гиблейского меда
Слаще, белей лебедей, плюща бледнолистого краше,
Только лишь под вечер в хлев возвратятся, насытятся, коровы,
О приходи, если помнишь еще своего Коридона!

Т и р с и с

Пусть я горше тебе покажусь сардонийского сока,
Злее терновника, трав бесполезней, извергнутых морем,
Ежели мне этот день не кажется длительней года.
Сыты вы, к дому теперь! — имейте же совесть, коровы!

К о р и д о н

Дремы приют, мурава, источники, скрытые мохом,
Вы, земляничники, их осенившие редкою тенью,
В солнцестоянье стада защитите — лето подходит
Знойное, почки уже набухают на лозах обильных.

Т и р с и с

В доме у нас и очаг, и лучины смолистые; пламя
Жарко горит, косяки почернели от копоти вечной.
Столько же дела нам здесь до зимнего холода, сколько
Лютым волкам до скота иль до берега бурным потокам.

К о р и д о н

Здесь можжевельник растет, каштаны топорщатся рядом,
Всюду, опавши, плоды под своими лежат деревьями.
Все веселится кругом. Но если б красавец Алексис
Горы покинул, тебе и поток бы сухим показался.

Т и р с и с

Высохло поле; трава, умирая от злобного зноя,
Жаждет. Лоза на холме напрасно о тени тоскует —
Зазеленеют леса с возвращеньем нашей Филлиды,
И благотворным дождем многократно прольется Юпитер.

К о р и д о н

Любит Алкид тополя, а Вакх — виноградные лозы,
Мирт Венерой любим, а лавр — его собственный — Фебом.
Любит Филлида орех — пока его любит Филлида,
Не пересилить его ни мирту, ни Февову лавру.

Т и р с и с

Вяз прекрасен в лесу, сосна — украшение сада,
Тополь растет у реки, а ель — на высоких нагорьях,
Если бы чаще со мной ты, Ликид прекрасный, видался,
Вяз бы лесной с садовой сосной тебе уступили!

М е л и б е й

Помню я все — и как Тирсис не мог, побежденный, бороться.
С этого времени стал для нас Коридон — Коридоном.

Из книги «Георгики»

КНИГА ВТОРАЯ

О хлебопашестве я рассказал и созвездьях небесных.
Ныне тебя воспою, о Вакх, воспою и деревья
Дикие леса, и плод неспешно растущей маслины.
К нам, о родитель Леней! Кругом твоими дарами
Полнится все, для тебя созревшими гроздьями поле
Отягчено и пенится сбор виноградный в точилах.
К нам, о родитель Леней, приди и вместе со мною
Суслем новым окрась себе голени, скинув котурны!

Прежде всего, деревья создает различно природа.
Много таких, что совсем человеческой воли не знали,
Сами собою растут, по полям широко рассеваясь
Иль по извилинам рек: ветла мягколистная, тополь,
Гибкий дрок и с листвою седой серебристая ива.

Часть же деревьев растет, коль посажено семя: каштаны
Стройные, выше всех роц Юпитеров с пышною кроной
Эскул, также и дуб, что у греков оракулом признан.
Целый лес прегустой иные от корня пускают:
Вишня иль вяз, например; сам лавр парнасский — он тоже,
Маленький, тянется вверх, осенен материнскою тенью.
Так природой самой устроено, чтоб зеленели
Всякого рода леса, и кусты, и священные рощи.
Есть и другие пути, добытые опытом долгим.
Этот, срезав побег с материнского нежного тела,
Сунет его в борозду; тот врост пенек или всадит
Кольшек с острым концом; расщепленную накрест, сажают
Ветку, а иногда сгибают податливый отпрыск
Аркой и садят его отводкой в родимую землю.
Вовсе не надо корней для иных, и смело садовник
Той же земле черенок, с макушки срезав, вверяет.
Даже коль ствол обрубить, и то — непостижное дело! —
Корень маслины опять из засохшего дерева лезет.
Видели мы: деревья без ущерба сменяют чужими
Ветви свои, и глядишь — привитые зреют на груше
Яблоки, сливы меж тем каменистым кизилом алеют.
Так изучайте ж, когда и какие потребны приемы,
О земледельцы! Плодов смягчайте грубость уходом.
Земли пускай не лежат без дела: с Вакхом полезно
Исмар сдружить, а *Табуρν* одеть обширный в маслины.

Будь же со мной и моей начатой сопутствуй работе,
О украшенье, о часть моей величайшая славы,
Ты, *Меценат*! Полети с парусами в открытое море!
Нет, я все охватить не стремлюсь моими стихами,
Нет, если даже я сто языков, сто уст возымел бы,
Голос железный. Скользи полоскою прибрежного рядом,
Не отходя от земли. Тебя поэтической басней
Не задержу, ни двусмыслием слов, ни приступом долгим.

Те дерева, что привольно взросли на свету и просторе,
Хоть и бесплодны, зато возвышаются бодры и крепки,
Мощь им почва дает. Но если б такие деревья
Кто-нибудь стал прививать и доверил их вырытым ямам,
Дикость пропала б у них и, чуя уход постоянный,
Стали послушно б они подчиняться любому искусству.
То же и с хилым ростком, взошедшим у самого корня,
Будет, коль всю рассадить по пространству широкому
поросль.

Здесь же глубокую тень материнские ветви бросают,
Здесь не даст он плода, для завязей соков не хватит.
Ежели, знай, принялось от семени дерево, будет
Медленен рост его, тень оно даст лишь далеким потомкам.
Будет и плод вырождаться, забыв о сочности прежней,
Будут и гроздья хиреть, незавидная птицам добыча.
Стало быть, надобно труд прилагать к любому растенью,
И к бороздам приучать, и ходить за каждым прилежно.
Все же маслину от пня разводить, лозу же отводкой
Лучше, пафосский же мирт от крепкой желательнo ветки.
Лучше с корнями сажать орех крепкоствольный, и ясень
Мощный, и с пышным венцом громадное древо Геракла.
Так же и дуб Отца Хаонийского; стройная пальма
Так же родится и ель — для грядущих кораблекрушений!
Почку привить миндаля к земляничному дереву можно.
Яблоки сочные вдруг на бесплодном зреют платане,
Бук — каштаны дает; на ясене диком белеет
Грушевый цвет, и свинья под вязом желуди топчет.
Способ же есть не один прививки отводов и почек:
Можно в толще коры, в том месте, где почки выходят
И уже тонкую ткань прорывают, надрез неширокий
Сделать в самом узле и дерева чуждого отпрыск
В щелку вставить, уча с корой постепенно срастаться.
Или ж стволы без сучков надсекают и клином глубоко
В толщу проводят пути; потом черенок плодоносный
Вводят в надрез, и пройдет лишь малость времени — мощно
Тянет уже к небесам благодатное дерево ветви,
Юной дивится листве и плодам на себе чужеродным.

Помни при этом, что вид не один существует могучих
Вязов, лотосов, ив иль идейских дерев, кипарисов.
Также и жирных маслин имеются разные виды:
Круглые, длинные есть и горькие — эти для масла.
Те же в плодовых садах Алкиноя известны различья
Груш крустумийских, и груш сирийских, и грузных волемов.
Гроздь с деревьев у нас иные свисают, чем гроздь,
Что с метимнейской лозы собирает по осени Лесбос;
Фасский есть виноград и белый мареотидский —
Первому лучше земля пожирней, второму — полегче;
Псифия — лучший изюм для вина, а лагеос — этот
Пьется легко, но свяжет язык и в ноги ударит.
Как не прославить мне вас, скороспелый, и красный, и ретик?
Все-таки спора о них не веди с погребями Фалерна.
Есть аминейский — дает он самые стойкие вина;
Тмол уступает ему и царь винограда — фанейский.
Мелкий аргосский еще — ни один у него не оспорит
Ни многосочья его, ни способности выстоять годы.
Нежный родосский, приличный богам и второй перемене,
Не обойду и тебя, ни тебя, бумаст полногроздь!
Но чтобы все их сорта перечислить и все их названья,
Цифр не хватит, да их и подсчитывать незачем вовсе,
Ибо число их узнать — все равно что песок по песчинкам
Счесть, который Зефир подымает в пустыне Ливийской,
Иль, когда Эвр на суда налегает, узнать попытаться,
Сколько о берег крутой разбивается волн ионийских.

Земли же производить не всякие всякое могут:
Ивы растут по рекам, по болотам илистым — ольхи.
На каменистых горах разрастается ясень бесплодный,
Благоприятно для мирт побережье, открытые солнцу
Любит холмы виноград, а тис — Аквилону стужу.
Ты посмотри, как в дальних краях земледел покоряет
М и р , — на арабов взгляни, на гелонов с расписанным телом.
Родина есть у дерев. Эбен лишь Индия знает,
Ветви, которые жгут в курильницах, — только сабеи.

Упомянуть ли еще о бальзамных деревьях, точащих
Смолы, или о плодах зеленого вечно аканфа?
О эфиопских лесах, белеющих мягкой шерстью?
Иль как серицы с листы собирают тончайшую пряжу?
Что о лесах я скажу, где крайний предел Океана,
В Индии, где никогда, взлетев, вершины древесной
Не достигала стрела, откуда б ее ни пустили?
Люди, однако же, там ловки, как схватят колчаны!
Мидия горький сок доставляет с устойчивым вкусом —
Плод благодатный, и нет действительней помощи телу,
Ежели чашу с питьем отравят мачехи злые,
Всяческих трав намешав и к ним заклинаний добавив
Пагубных, — лучше ничем не выгонишь злостного яда.
Дерево то велико и очень походит на лавры.
Если б широко вокруг иной оно запах не лило,
Счел бы за лавр; листы никогда не сорвет с него ветер;
Цвет его крепко сидит. Устраняют тем соком мидяне
Запах из уст и еще — стариковскую печат одышку.

Но ни мидийцев земля, что всех богаче лесами,
Ни в красоте своей Ганг, ни Герм, от золота мутный,
Все же с Италией пусть не спорят; ни Бактрия с Индом,
Ни на песчаных степях приносящая ладан Панхайя.
Пусть не вспахали быки, огонь выдыхая ноздрями,
Эти места и зубов тут не сеяно Гидры свирепой,
Дроты и копья мужей не всходили тут частою нивой —
Но, наливаясь, хлеба и Вакха массийская влага
Здесь изобильны, в полях и маслины, и скот в преизбытке.
Здесь и воинственный конь выходит на поле гордо.
Белы твои, о Клитумн, стада, постоянно омыты
Влагой священной твоей, а бык, драгоценная жертва,
Римским триумфам не раз до божьих сопутствовал храмов.
Здесь неизменно весна и лето во время любое,
Дважды приплод у отар и дважды плоды на деревьях.
Хищных тигров тут нет, ни львиного злого потомства,
Здесь собирателей трав аконит не обманет злосчастных,

Нет и чешуйчатых змей, огромные кольца влачащих
И, проползая тайком, вращающих тело спиралью.
Столько отменных прибавь городов и труд созиданья,
Столько по скалам крутым твердынь, людьми возведенных,
Столько под скалами рек, обтекающих древние стены!
Море напому ли, к ней подступившее справа и слева?
Множество разных озер; напому ли Ларий обширный
Или тебя, о Бенак, как море вздымающий волны?
Упомяну ли еще о портах и молах Лукрина
Или о море, что, вдаль плотиной отогнано мощной,
В негодование шумит и у гавани Юлия ропщет,
А закипевший Тиррен вливается в воды Аверна?
Не у нее ли ручьи серебра и залежи меди
В недрах, течет не она ль изобильно золотом чистым?
Крепких она и мужей, сабинских потомков и марсов,
И лигурийцев, трудом закаленных, и с копьями вольсков
Родина, Дециев всех и Мариев, сильных Камиллов,
И Сципионов, столпов войны, и твоя, достославный
Цезарь, который теперь победительно в Азии дальней
Индов, робких на брань, от римских твердынь отвращает.
Здравствуй, Сатурна земля, великая мать урожаяв!
Мать и мужей! Для тебя в искусство славное древних
Ныне вхожу, приоткрыть святые пытаюсь истоки.
В римских петь городах я буду аскрейскую песню.
Свойства земли изложу — какое в какой плодородье,
Цвет опишу и к чему различные почвы пригодней.

Первым делом: земля неудобная, горки скупые,
Где и суглинок залег, и камни на поле кустистом, —
Те для Палладиных рощ хороши, для живучей маслины.
Признак тому, что растет маслина и дикая там же
И покрывает своей опадающей ягодой землю.
Если же почва жирна и смягчающей влагой богата,
Если на почве сырой трава вырастает обильно,
Как наблюдаем подчас среди гор в углубленной долине,
Ибо туда от высот скалистых льются потоки,

Ил благотворный неся; если поле открыто на Австры,
Ежели папоротник питает, плугам ненавистный, —
Значит, с годами оно тебе вырастит мощные лозы.
Много получишь вина; принесут в изобилии гроздь
Сок, который потом золотой возливаем мы чашей, —
Жирный тирренец меж тем на кости слоновой играет
У алтаря, и несут на блюдах дымящийся потрох.
Если же крупный скот и телят разводить ты захочешь,
Или ягнят, или коз, грозу насаждений, то лучше
Перебирайся в леса, подальше, к равнинам Тарента
Злачным, как те, что теперь утрачены Мантуей бедной,
Где в камышах на реке лебединые плещутся стаи.
Много там чистых ручьев, и пастбищ для стада достанет.
Сколько за день травы скотина твоя нащипала,
Столько в недолгую ночь возместят прохладные росы.
Черного цвета земля жирна и плугу послушна,
Рыхлая (этого мы достигаем, ее обработав)
Лучше всего для хлебов; не видали, чтоб с поля иного
Столько к дому возов на неспешных волах возвращалось.
Ежели где-нибудь лес сведет в нетерпении пахарь,
Рощи, что столько годов бесполезными были, повалит,
Ежели древние он с корнями вырвет жилища
Птиц и те в высоту устремятся, гнезда покинув, —
Новая эта земля заблещет под тяжестью плуга!
А худосочный песок с камнями, на поле наклонном,
Разве лишь пчел угостит розмарином да скромной лавандой.
Пористый туф, говорят, и хелидрой изъеденный черной
Мел — обиталище змей, никакая им местность иная
Пищи приятней не даст и подземных удобней извилин.
Почва, с которой туман испаряется дымкой летучей,
Та, что влагу, испив, с охотой обратно выводит
И постоянно, весь год, зеленеет свежей травой
И не язвит сошника солонистой едкою порчей, —
Вязы тебе оплетет благородной лозой виноградной,
Много маслин принесет — увидишь по опыту, — эта
И хороша для скота, и выгнутый лемех приемлет.

Пашет такие поля богатая Капуя, берег
Возле Везувия, где немилостив Кланый к Ацеррам.
Ныне скажу, как узнать любую почву ты сможешь.
Почва рыхла иль чрезмерно плотна, сначала исследуй,
Ибо одна для хлебов подходяща, другая — для Вакха;
Та, что плотней, Церере мила, полегче — Лиэю.
Вымотришь место сперва, потом прикажешь глубокий
Вырыть колодезь и весь засыпать доверху снова
Той же землей и ее притопчешь крепко ногами.
Если не хватит земли — легка, скотине и лозам
Больше подходит она; откажется ж если вместиться,
Ежели выше краев над полной подыметя ямой —
Почва плотна; упористых глыб, тяжелых и жирных,
Жди и землю взрезай на волах молодых и могучих.
Почва соленая есть, ее называем мы «горькой».
Хлеб не родится на ней, ибо вспашка ее не смягчает.
Не сбережет ни качеств лозы, ни названья плодовых.
Вот как ее распознать: плетенья тугого корзину
Или от жома достань цедилку с задымленной кровли,
Землю соленую в них родниковой пресной водою
Ты замешай, и вода с трудом просочится оттуда,
Вскоре, как быть и должно, закапают крупные капли.
Вкус указание даст очевидное, привкусом горьким
Жалостно рот искривив любого, кто пробовать станет.
Почву жирную мы, наконец, и таким отличаем
Способом: если в руках ее мять, не становится пылью,
Но, наподобье смолы, прилипает, клейкая, к пальцам.
Влажная почва растит высоченные стебли — чрезмерно,
Значит, богата она. Земли нам столь пышной не надо —
Пусть такая земля не вредит неокрепшим колосьям.
Тяжесть и легкость свою безмолвно земля обнаружит
Весом; легко и на глаз угадать, черноземна ли почва
Или же нет. А мороз окаянный предвидеть заране —
Трудно: ели одни, да еще вредоносные тисы
Могут нам дать иногда указанья, да плющ темнолистый.
Все во вниманье приняв, позаботься землю пораньше

Выжечь, рядами канав изрезать покатые склоны;
Глыбы земли отвалив, Аквилону их надо подставить,
Раньше чем станешь сажать благодатные лозы. Всех
лучше —
С рыхлою почвой поля; на пользу им изморозь, ветер
И здоровяк земледел, перепахивать землю охочий.

Те из хозяев, кому не чужда никакая забота,
Место сначала найдут подходящее и заготовят
Саженцы, после же их по порядку рассаживать будут,
Чтоб не узнали они, что мать у детей подменили.
Боле того, на коре отмечают и сторону света,
Чтобы стояли они, как прежде, бок подставляя
Австру со зноем его, или к северу тыл обращали:
Надобно всё сохранить — так прежние важны привычки.
Раньше узнай, где лозы сажать, по склонам ли горным
Иль на равнине. Разбив на участки тучное поле,
Тесно сажай: в тесноте не ленивей лоза плодоносит.
Если ж на склоне горы у тебя расположен участок,
Можешь ряды выверять не так уж строго, но все же
Свой виноградник сперва поровнее разбей на квадраты.
Так на войне легион, растянувшись, строит когорты,
И на открытой стоит равнине пешее войско,
В строгих и ровных рядах, и широкое зыблется поле
Медью горящей, но бой пока не завязан, и бродит
Марс между вражеских войск, еще не принявший решения.
Все пусть равным числом дорожек измерено будет
Не для того, чтобы вид утешал лишь праздную прихоть,
Но потому, что земля не даст иначе всем равной
Силы и отпрыски лоз протянуться не смогут в пространство.
Может быть, как глубоко сажаются лозы, ты спросишь?
Я бы решился лозу борозде неглубокой доверить.
Глубже namного сажать деревья следует в землю,
Эскул прежде всего, который настолько вершиной
Тянется в ясный эфир, насколько в Тартар корнями.
И никогда-то его ни стужи, ни ветры, ни ливни
Не сокрушат — стоит недвижим; он много потомков

И поколений навек проводил, победив долголетьем.
Вширь туда и сюда простерев могучие ветви,
Сам над собой на руках он огромную тень свою держит.
Так же пускай на закат у тебя не глядит виноградник.
Да не сажай между лоз ореха; верхних побегов
Не обрывай, черенков у деревьев не сламывай сверху —
Дерево дружно с землей. Ножом притупившимся бойся
Ранить росток. Не сажай между лозами дикой маслины:
Неосторожный пастух нередко искру роняет —
И потаенный огонь, под жирною скрытый корою,
Ствол забирает, потом, в листву перекинувшись, громкий
Треск в высоте издает и, набег по ветвям продолжая
Победоносный, уже над вершинной листвою торжествует.
Рошу он пламенем всю охватил, над нею вздымает
Черную к небу, клубясь смолянистою копотью, тучу —
А особенно, когда на деревьях вдобавок нагрянет
Буря и ветер, несясь, перекидывать станет пожары.
Лозы хиреют тогда с корневищем своим сокрушенным
И не подымутся вновь, зеленея роскошной листвою.
Выжить одной лишь дано горьколистной меж ними маслине.

Пусть не внушает тебе какой-нибудь умный советчик,
Чтобы ты землю копал под холодным дыханьем Борея.
Почву зима леденит и сжимает, корням при посадке,
Слипшимся между собой, в глубину проникать не давая.
Лучше сажать виноград, лишь только весною румяной
Белая птица к нам прилетит, ненавистная змеям,
Иль как придут холода, но пока еще знойное солнце
Не донеслось на конях до зимы, а уж лето проходит.
Благоприятна весна и лесам, и рощам кудрявым,
Земли взбухают весной и просят семян детородных,
Тут всемогущий Отец Эфир, изобильный дождями,
Недро супруги своей осчастливив любовью, великий,
С телом великим ее сопряжен, все живое питает.
Чащи глухие лесов звенят голосами пернатых;
Снова в положенный срок Венеру чувствует стадо;

Нива родит и растит. С дыханием теплым Зефира
Лоно раскрыли поля. Избыточна нежная влага.
Новому солнцу ростки уже не страшатся спокойно
Ввериться, и виноград не боится, что Австры задуют
Или что с неба нашьют Аквилоны могучие ливень.
Гонит он почки свои, всю сразу листву распуская.

Быть лишь такими могли недавно возникшего мира
Дни, не могло быть иной столь устойчивой ясной погоды.
Верится мне, что была лишь весна, весну неизменно
Праздновал мир, и весь год лишь кроткие веяли Эвры —
Вплоть до поры, когда свет увидела тварь и железный
Род людской из земли впервые голову поднял,
Хищные звери в лесах показались и звезды на небе.
И не могли бы стерпеть испытаний подобной растенья,
Если б такой перерыв между зноем и стужей покоя
Не приносил, и земля не знала бы милости неба.

Вот что еще: какие б кусты на полях ни сажал ты,
Больше навоза клади да прикрой хорошенько землю,
Пористых сверху камней наложи да немых ракушек —
Воды меж них протекут и воздушные струйки проникнут.
Лучше тогда насажденья взойдут. Иной из хозяев
Грудю навалит камней, а иной тяжелой плитою
Землю придавит, ища от стремительных ливней защиты,
Также от знойного Пса, калящего яростно почву.
Порассадив черенки, окучивать надобно лозы,
Чаще у самых корней мотыгой взмахивать крепкой
Иль, налегая на плуг, разрыхлять между лозами землю,
А иногда и упорных волов проводить в междурядьях.
Тут припаси камыши, из ободранных веток подпорки;
Колышков вязовых впрок наготовь и рогаток-двурожек,
Чтоб, опираясь на них, научились выдерживать лозы
Ветра налеты и вверх по лесенке сучьев взбирались.
Нежной покамест листвою зеленеет младенческий возраст,

Юную надо шадить. Пока жизнерадостно к небу
Веточки тянет она и, свободная, в воздух стремится,
Листьев касаться серпом не следует острым, а нужно
Только рукой обрывать — однако же часть оставляя.
А как начнут обнимать, понемногу окрепнув корнями,
Вязы, срезай им излишек волос, укорачивай руки.
Раньше им боязен серп, теперь же властью суровой
Смело действуй на них и сдерживай рост их чрезмерный.
Надо ограду сплести, не пускать в виноградник скотину,
Зелень пока молода и бедствий еще не знавала.
Лозам, кроме зимы непогожей и жгучего лета,
Тур лесной и коза, охочая к ним особливо,
Пагубны; часто овца и корова их жадная щиплет.
Даже от холода зим в оковах белых мороза
Или от летней жары, гнетущей голые скалы,
Меньше беды, чем от стад, что зубом своим ядовитым
Шрам оставляют на них — прокушенных стволиков метку.
Козья вина такова, что у всех алтарей убивают
Вакху козла и ведут на просцении древние игры.
Вот почему в старину порешили внуки Тесея
Сельским талантам вручать награды — с тех пор они стали
Пить, веселиться в лугах, на мехе намасленном прыгать.
У авзонийских селян — троянских выходцев — тоже
Игры ведут, с неискусным стихом и несдержанным смехом,
Страшные хари надев из долбленной коры, призывают,
Вакх, тебя и поют, подвесив к ветви сосновой
Изображенья твои, чтобы их покачивал ветер.
После того изобильно лоза, возмужав, плодоносит.
В лоне глубоких долин виноград и в рощах нагорных,
Всюду, куда божество обратило свой лик величавый.
Будем же Вакху почет и мы воздавать по обряду
Песнями наших отцов, подносить плоды и печенье.
Пусть приведенный за рог козел предстанет священный,
Потрох будем потом на ореховом вертеле жарить.

При разведении лоз и другой немало заботы;
Не исчерпаешь ее! В винограднике следует землю
Трижды-четырежды в год разрыхлять и комья мотыгой,
Зубьями книзу, дробить постоянно; кусты от излишней
Освободить листья. По кругу идет земледельца
Труд, вращается год по своим же следам прошлогодним.
В дни, когда виноград потерял уже поздние листья
И украшение лесов снесено Аквилоном холодным,
Дельный заботы свои уж на будущий год простирает
Сельский хозяин: кривым сатурновым зубом останки
Он дочистает лозы, стрижет и подрезкой образит.
Первым землю копай; свози и сжигай, что обрезал,
Первым, и первым спеши запасти подпорки и кольца.
Самым последним собирай. Два раза лозу затеяют
Листья, два раза трава грозит заглушить насажденья.
С этим борьба нелегка. Восхваляй обширные земли —
Над небольшою трудись. Чтобы лозы подвязывать, надо
Веток терновых в лесу понарезать, набрать очерету
По берегам, не забыть при этом и вербу простую.
Вот привязали лозу, вот серп от листьев отдыхает,
И виноградарь поет, дойдя до последнего ряда.
Все ж надо землю еще шевелить, в порошок превращая,
И, хоть созрел виноград, Юпитера все же страшиться.

Наоборот, для маслин обработки не надо, маслины
Не ожидают серпа, не требуют цепкой мотыги.
Лишь укрепятся в земле и ко всяким ветрам приобькнут,
Выделит почва сама, коль вскрыть ее загнутым зубом,
Влаги им вдоволь. Вспаши — и обильные даст урожаи.
Стоит трудиться над ней, многоплодной оливкою мира!
Что до плодовых деревьев, то, ствол почувствовав крепким,
В силу войдя, они сами собой подымаются быстро,
К небу стремясь, — никакой им помощи нашей не надо.
Да и в лесу деревья избилуют плодоношением,
Каждый пернатых приют краснеет от ягод кровавых.
Щиплет скотина китис. На хвойных смолу добывают,

Ею ночные огни питаются, свет разливая.
Так сомневаться ль еще в благородном труде плодоводства?

Но о больших деревьях не довольно ли? Ветлы и дроки
Скромные корм скоту и тень пастухам доставляют,
Эти идут на плетни, те сок накаплиют для меда.
Видеть отрадно Китор, волнуемый рощами буксов,
Нарика бор смоляной; просторы нам видеть отрадно,
Что не знавали мотыг, никаких забот человека.
Хоть не приносят плодов нагорные пущи Кавказа,
Где их неистовый Эвр и треплет, и, вырвав, уносит,
Разного много дают: немало полезного леса,
Для мореходов — сосну, для стройки — кедр с кипарисом,
Спицы обычных колес и круги для сельских повозок.
Рубят из тех же дерев кузова кораблей крутобоких.
Вязы богаты листвою, а прутьями гибкими — ветлы;
Древки мирт дает и кизил, с оружием дружный.
Тисы гнут, чтобы их превращать в итурейские луки;
Легкая липа и букс, на станке обработаны, форму
Могут любую принять — их острым долбят железом.
Легкая также ольха по бушующим плавает водам,
Спущена в Пад; рои скрывают пчелы по дуплам
Иль в пустоте под корой загнившего дерева прячут.
Что же нам Вакха дары принесли, чтобы тем же их

вспомнить?

Вакх и причиной бывал преступлений различных: он смертью
Буйных кентавров смирил — и Рета, и Фола; тогда же
Пал и Гилей, что лапифам грозил кратером огромным.

Трижды блаженны — когда б они счастье свое
сознавали! —

Жители сел. Сама, вдалеке от военных усобиц,
Им справедливо земля доставляет нетрудную пищу.
Пусть из кичливых сеней высокого дома не хлынет
К ним в покои волна желателей доброго утра
И не дивятся они дверям в черепаховых вставках,

Золотом тканых одежд, эфирейской бронзы не жаждут;
Пусть их белая шерсть ассирийским не крашена ядом,
Пусть не портят они оливковых масел корицей —
Верен зато их покой, их жизнь простая надежна
Всем-то богата она! У них и досуг, и приволье,
Гроты, озер полнота, и прохлада Темпейской долины,
В поле мычанье коров, под деревьями сладкая дрема —
Все это есть. Там и рощи в горах, и логи со зверем;
Трудолюбивая там молодежь, довольная малым;
Вера в богов и к отцам уваженье. Меж них Справедливость,
Прочь с земли уходя, оставила след свой последний.

Но для себя я о главном прошу: пусть милые Музы,
Коим священо служу, великой исполнен любовью,
Примут меня и пути мне покажут небесных созвездий,
Муку луны изъяснят и всякие солнца затмения.
Землетрясенья отколь; отчего вздымается море,
После ж, плотины прорвав и назад отступив, опадает;
И в океан почему погрузиться торопится солнце
Зимнее; что для ночей замедленных встало препоной.
Пусть этих разных сторон природы ныне коснуться
Мне воспрепятствует кровь, уже мое сердце не грея,
Лишь бы и впредь любить мне поля, где льются потоки,
Да и прожить бы всю жизнь по-сельски, не зная о славе,
Там, где Сперхий, Тайгет, где лакедемонские девы
Вакха славят! О, кто б перенес меня к свежим долинам
Гема и приосенил ветвей пространную тенью!
Счастливы те, кто вещей познать сумели основы,
Те, кто всяческий страх и Рок, непреклонный к молениям,
Смело повергли к ногам и жадного шум Ахеронта.
Но осчастливлен и тот, кому сельские боги знакомы, —
Пан, и отец Сильван, и нимфы, юные сестры.
Фасци — народная честь — и царский его не волнует
Пурпур, или раздор, друг на друга бросающий братьев;
Или же дак, что движется вниз, от союзника Истра;
Рима дела и падения царств его не тревожат.

Ни неимущих жалеть, ни завидовать счастьем имущих
Здесь он не будет. Плоды собирает он, дар доброхотный
Нив и ветвей; он чужд законов железных; безумный
Форум ему незнаком, он архивов народных не видит.
Тот веслом шевелит ненадежное море, а этот
Меч обнажает в бою иль к царям проникает в чертоги.
Третий крушит города и дома их несчастные, лишь бы
Из драгоценности пить и спать на сарранском багрянце.
Прячет богатства иной, лежит на закопанном кладе;
Этот в восторге застыл перед рострами; этот пленился
Плеском скамей, где и плебс, и отцы, в изумленье разинул
Рот; приятно другим, облившись братскою кровью,
Милого дома порог сменить на глухое изгнание,
Родины новой искать, где солнце иное сияет.
А земледелец вспахал кривым свою землю оралом —
Вот и работы на год! Он родине этим опора,
Скромным пенатам своим, заслуженным волам и коровам.
Не отдохнешь, если год плодов еще не дал обильных,
Иль прибавленья скоту, иль снопов из Церериных злаков,
Не отягчил урожаем борозд и амбаров не ломит.

Скоро зима. По дворам сикионские ягоды дают.
Весело свиньи бредут от дубов. В лесу — земляничник.
Разные осень плоды роняет с ветвей. На высоких,
Солнцу открытых местах виноград припекается сладкий.
Милые льнут между тем к отцовским объятиям дети.
Дом целомудренно чист. Молоком нагруженное, туго
Вымя коровье. Козлы, на злачной сойдысь луговине,
Сытые, друг против друга стоят и рогами дерутся.
В праздничный день селянин отдыхает, в траве
развалившись, —
Посередине костер, до краев наполняются чаши.
Он, возливая, тебя, о Ленеи, призывает. На вязе
Вешают тут же мишень, пастухи в нее дротики мечут.
Для деревенской борьбы обнажается грубое тело.

Древние жизнью такой сабиняне жили когда-то,
Так же с братом и Рем. И стала Этрурия мощной.
Стал через это и Рим всего прекраснее в мире —
Семь своих он твердынь крепостной опоясал стеною.
Раньше, чем был у царя Диктейского скипетр, и раньше,
Чем нечестивый стал род быков для пиров своих резать,
Жил Сатурн золотой на земле подобною жизнью.
И не слышали тогда, чтобы труб надувались гортани,
Чтобы ковались мечи, на кремневых гремя наковальнях.

Но уж немалую часть огромной прошли мы равнины —
Время ремни развязать у коней на дымящихся выях.

Квинт Гораций Флакк

(65—8 до н. э.)

ИЗ КНИГИ «ОДЫ»

9. К ВИНОЧЕРПИЮ ТАЛИАРХУ

В снегах глубоких, видишь, стоит, весь бел,
Соракт. Леса не в силах уже сдержать
Свой груз тяжелый, и потоки
Скованы прочно морозом крепким.

Рассей же стужу! Щедро подкладывай
В очаг дрова и четырехлетнее
Вино из амфоры сабинской,
О Талиарх, пообильней черпай!

А остальное вверх небожителям.
Лишь захотят — бушующий на море
Затихнет ветер и не дрогнут
Ни кипарисы, ни ясень древний.

Что будет завтра, бойся разгадывать
И каждый день, судьбою нам посланный,
Считай за благо. Не чуждайся
Ласки любовной и пляски, мальчик!

Пока ты юн, от хмурых далек седины, —
Все для тебя, и поле и площади!
И нежный шепот в час условный
Пусть для тебя раздастся ночью,

Доколе сладок в темном углу тебе
Предатель-смех таящейся девушки
И мил залог, с запястья снятый
Иль с неупорствующего пальца.

37. К ПИРУЮЩИМ

Теперь — пируем! Вольной ногой теперь
Ударим оземь! Время пришло, друзья,
Салийским угощением щедро
Ложа кумиров почтить во храме!

В подвалах древних не подобало нам
Цедить вино, доколь Капитолию
И всей империи крушением
Смела в безумье грозить царица

С блудливой сворой хворых любимчиков,
Уже не зная меры мечтам с тех пор,
Как ей вскружил успех любовный
Голову. Но поутихло буйство,

Когда один лишь спасся от пламени
Корабль и душу, разгоряченную
Вином Египта, в страх и трепет
Цезарь поверг, на упругих веслах

Гоня беглянку прочь от Италии,
Как гонит ястреб робкого голубя
Иль в снежном поле фессалийском
Зайца охотник. Готовил цепи

Он роковому диву. Но доблестней
Себе искала женщина гибели:
Не закололась малодушно,
К дальним краям не помчалась морем.

Взглянуть смогла на пепел палат своих
Спокойным взором и, разъяренных змей
Руками взяв бесстрашно, черным
Тело свое напоила ядом,

Вдвойне отважна. Так, умереть решив,
Не допустила, чтобы суда врагов
Венца лишенную царицу
Мчали рабой на триумф их гордый.

30. К МЕЛЬПОМЕНЕ

Создал памятник я, бронзы литой прочней,
Царственных пирамид выше поднявшийся.
Ни снедающий дождь, ни Аквилон лихой
Не разрушат его, не сокрушит и ряд

Нескончаемых лет — время бегущее.
Нет, не весь я умру, лучшая часть меня
Избежит похорон. Буду я вновь и вновь
Восхваляем, доколь по Капитолию

Жрец верховный ведет деву безмолвную.
Назван буду везде — там, где неистовый
Авфид ропщет, где Давн, скудный водой, царем
Был у грубых селян. Встав из ничтожества,

Первым я приобщил песню Эолии
К италийским стихам. Славой заслуженной,
Мельпомена, гордись и, благосклонная,
Ныне лаврами Дельф мне увенчай главу.

Публий Овидий Назон

(43 до н. э. — 18 н. э.)

Из книги «Любовные элегии»

5

Жарко было в тот день, а время уж близилось к полдню.

Поразморило меня, и на постель я прилег.

Ставня одна лишь закрыта была, другая — открыта,

Так что была полутень в комнате, словно в лесу, —
Мягкий, мерцающий свет, как в час перед самым закатом

Иль когда ночь отошла, но не возник еще день.

Кстати такой полумрак для девушек скромного нрава,

В нем их опасливый стыд нужный находит приют.

Тут Коринна вошла в распоясанной легкой рубашке,

По белоснежным плечам пряди спадали волос.

В спальню входила такой, по преданию, Семирамида

Или Лаида, любовь знавшая многих мужей...

Легкую ткань я сорвал, хоть, тонкая, мало мешала —

Скромница из-за нее все же боролась со мной.

Только сражалась, как те, кто своей не желает победы,

Вскоре, себе изменив, другу сдалась без труда.

И показалась она перед взором моим обнаженной...

Мне в безупречной красе тело явилось ее.

Что я за плечи ласкал! К каким я рукам прикасался!

Как были груди полны — только б их страстно сжимать!

Как был гладок живот под ее совершенною грудью!

Стан так пышен и прям, юное крепко бедро!

Стоит ли перечислять?.. Все было восторга достойно.

Тело нагое ее я к своему прижимал...

Прочее знает любой... Уснули, усталые, вместе...

О, проходили бы так чаще полудни мои!

Из книги «Метаморфозы»

* * *

*

Чудом с братом своим и вторично свершившимся чудом
В сердце смущен и встревожен Кеик и готовится, с целью
Божьи вещанья узнать — утешенье всегдашнее смертных, —
В Клар к Аполлону идти. Форбант в то время безбожный
С шайкой флегийцев пути заступал к святыням дельфийским.
И о решение тебя, Алкиона вернейшая, нежный
Предупреждает супруг. Но ее, лишь об этом узнала,
Холод пронзил до костей. Лицо ее стало бледнее
Бледного букса, и слез струи увлажнили ей щеки.
Трижды хотела сказать, и трижды струилися слезы.
И, прерывая свои задушевные жалобы всхлипом,
Молвит: «Какую вину допустила я, милый, что мыслью
Ты отвратился? Куда твоя прежняя делась забота?
Ныне ты можешь уйти, Алкиону спокойно покинув,
Люб тебе длительный путь — я издали стала милее!
Лишь бы по суше ты шел — печалиться буду я так же,
Страха не будет зато; тосковать мне тогда без боязни:
Сердце страшит мне вода, унылое зрелище моря.
На побережье на днях я разбитые видела доски;
И на холмах погребальных, без тел имена прочитала.
Да не обманет души уверенность ложная, друг мой,
Что Гиппотад тебе тесть, который могучие ветры
Держит в темнице и зыбь по желанью смиряет морскую.
Если он выпустит их и они овладеют зыбями,
Им не запретно ничто, перед ними земля беззащитна
Вся, беззащитны моря; они гонят и по небу тучи,
И вытряхают огонь багряный, сшибаясь жестоко.
Знала я их хорошо, да, знала; я маленькой часто
Видела их у отца и тем более знаю опасность.
Если решение твое никакими нельзя уж мольбами,

Милый супруг, изменить и отправишься ты непременно —
В путь возьми и меня. Все мы подвергнемся вместе,
Не утрашуся я ничем, все сама испытаю. Снесем мы
Вместе что ни случись и по морю вместе помчимся!» —
Молвит Эолова дочь. Словами ее и слезами
Тронут был звездный супруг. Он не меньше любовью пылает,
Но путешествия все ж отложить не желает морского
И, чтоб опасности с ним Алкиона делила, не хочет.
Много он ей говорил в утешение робкому сердцу —
Тщетно: ничем убедить не может ее. Добавляет
Ей в облегчение так — лишь этим склонил он супругу:
«Длительно всякое мне промедленье; тебе обещаю
Отчим огнем, я вернусь — коль будет судеб изволение —
Раньше, чем дважды луна успеет достичь полнолуния».
При обещанье таком на возврат в ней возникла надежда.
Тотчас велит он сосновый корабль из гавани вывезть,
В море спустить и его оборудовать всем снаряженьем.
И, увидавши корабль, как будто в грядущем читая,
В ужас пришла Алкиона, и слез заструились потоки.
Мужа она обняла и устами печальными, в горе,
Молвит «прости» наконец и, промолвив, без чувств упадает.
Но уж торопит Кеик, и юноши, сдвоенным рядом,
К груди могучей уже придвигают гребущие весла,
Ровными волны они разрезают ударами. Очи
Влажные тут подняла Алкиона и видит супруга,
Как он на гнутой корме стоит и машет рукою.
Знакам его отвечает она. Земля отступает
Дальше; скоро и лиц различить уже очи не в силах;
Все ж, пока можно, следит она взором за судном бегущим;
А как уже и корабль не могла в отдалении видеть,
Стала на парус смотреть, высоко трепетавший на мачте.
А как и парус исчез, ушла, опечалена, в спальню
И на пустую постель прилегла; вновь вызваны слезы
Ложем и местом; ей все говорит об утраченном друге!
Вышли из порта они. Дуновенье гребцов заменило.
Боком уже мореход обращает висащие весла;

Реи на самом верху помещает он мачт и полотна
Все наставляет и в них принимает поднявшийся ветер.
Вот подороги уже — но, конечно, не больше — по водам
Судно проплыло, и был еще берег противный далёко —
Вдруг перед ночью белеть набухавшими волнами море
Начало, сразу сильней стал дуть неожиданный ветер.
«Верхние реи снимать! Живей! — восклицает в тревоге
Кормчий. — Эй! Привязать полотнища к мачтам, не медлить!»
Так он велит, но мешает уже налетевшая буря.
Голоса слышать уже не дают грохотанием волны;
Сами спешат моряки тем не менее вытащить весла;
Те укрепляют борты, паруса отнимают у ветра;
Черпает влагу иной, льет воду же в воду морскую;
Этот схватился за снасть; пока действуют так без приказа,
Грозная буря растет; отовсюду жестокие ветры
В битву идут и крутят зыбей возмущенные глубы.
Кормчий в ужасе сам, признается себе, что не знает,
Как поступить, что ему запрещать, что приказывать должно, —
Тяжесть беды такова, настолько сильнее искусства!
Вправду, и крик моряков раздается, и весел скрипенье,
Воды набегом воды угрожают, и небо громами —
Волн громады встают с небесами как будто бы вровень,
Море и брызгами волн окропляет нашедшие тучи;
То поднимая со дна золотистый песок, принимает
Краску его, то черней становится Стиксовой влаги;
То простирается вдруг и шумящею пеной белеет.
Вслед переменам его и трахинское мечется судно:
То высоко вознесясь, как будто бы с горной вершины
Смотрит оно на долины внизу и на глубь Ахеронта,
То, как обстанут корабль опустившийся волны крутые,
Будто на небо вверх из Аидовой смотрит пучины.
Борт, то и дело волной ударяем, грохочет ужасно —
Он не слабее гремит, чем железный таран иль баллиста,
Чей потрясает удар крепостную уставшую стену;
Или чем дикие львы, что бегут, на ходу удвояя
Силы, грудью вперед, навстречу протянутым копыям.

Так устремлялась вода под порывом восставшего ветра,
И подступала к снастям, и намного уж их превышала.
Клинья расшатаны; вот, воскового лишившись покрова,
Щели зияют, пути открывая погибельным водам.
Вот из разъявшихся туч широко извергаются ливни.
Можно подумать, что все опускается на море небо
Или что море само подымается к хлябям небесным.
Дождь промочил паруса, с небесными водами воды
Моря смешались, и нет ни проблеска в черном эфире.
Вкупе бессветную ночь гнетут ее темень и буря;
Их разрывают одни, полыханьями мрак озаряя,
Молнии. Молний огнем загораются бурные воды.
И уж ввергается внутрь через дыры бортовой обшивки
Водный поток; как солдат, из всего превосходнейший строя,
Что наконец, подскочив к стенам защищенного града,
Видит свершенье надежд и, зажженный желанием славы,
Стену один среди тысяч мужей наконец занимает, —
Так о крутые бока ударили жестокие волны;
Все же могучее всех был приступ девятого вала!
Он лишь тогда перестал штурмовать корабль истомленный,
Как запрокинулся внутрь, за борт плененного судна.
Все же часть моря еще кораблем овладеть устремлялась,
Часть наполняла корабль. И не менее все трепетали,
Нежели в граде, когда пробивают одни крепостную
Стену, другие меж тем ее изнутри занимают.
Слабо искусство. Дух пал. И сколько валов ни нахлынет,
Кажется — что ни волна, то мчатся и рушатся смерти!
Этот расплакался, тот оступел, другой называет
Счастьем обряд похорон иль богов почитает обетом,
Руки напрасно воздев к небесам, невидимым взору,
Молит о помощи; тот — отца вспоминает и братьев;
Этот — с имуществом дом, что каждый на бреге оставил.
Но к Алкионе Кеик устремлен. На устах у Кеика
Лишь Алкиона одна. Ее хоть одной он желает —
Рад, что не с ними она. Он жаждет родные пределы
Вновь увидеть, обратить на дом свой последние взоры,

Только не знает, где он, столь сильным море вскипает
Водоворотом, а тень, наведенная черною тучей,
Небо окутала все и образ удвоила ночи.
Сломлена мачта, сразил ее вихрь, из туч налетевший,
Сломлен и руль, и, добычей гордясь, высоко подымаясь,
Как победитель, волна на согбенные воды взирает
И тяжело, как будто весь Пинд с Афоном с их места
Кто-то спихнул и стремглав опрокинул в открытое море,
Рушится в бездну сама и силой удара и веса
Вглубь погружает корабль. Немалая часть мореходов
Тяжкой пучиной взята, на воздух уже не вернувшись,
В бездне погибель нашла; другие схватились за части
Судна разбитого; сам рукою, державшею скипетр,
Стиснул Кеик обломок весла. К отцу он и к тестю
Тщетно зывает, увы! Но жена Алкиона не сходит
С уст пловца. Он ее вспоминает, о ней говорит он.
Чтобы пред очи ее был мертвый он выброшен морем,
Молит, чтоб руки друзей возвели ему холм надмогильный.
Только позволит волна уста разомкнуть, он далекой
Имя супруги твердит, под водою — и то его шепчет.
Но над волнами меж тем вдруг черная водная арка
Рушится, пеною вод погруженную голову кроя.
И Светоносец в ту ночь был темен, его невозможно
Было признать, поскольку с высот отлучиться Олимпа
Не дозволялось, свой лик он густыми закрыл облаками.
Дочь Эола меж тем, о стольких не зная несчастьях,
Ночи считает; уже разбирает поспешно, какие
Платья наденет Кеик; в какие, когда он вернется,
Ей нарядиться самой: о возврате мечтает напрасно!
Всем между тем божествам приносила она воскуренья,
Боле, однако же, всех почитала святыню Юноны;
Ради супруга — уже неживого! — алтарь посещала.
Чтобы супруг ее был невредим, чтобы он возвратился,
В сердце молила, чтоб ей предпочесть не подумал другую —
Этого лишь одного из стольких достигла желаний!

Дольше богиня терпеть не могла, что за мертвого мужа
Просит она; чтоб алтарь оградить от молений зловещих,
Молвит: «Ирида, моей вернейшая вестница воли!
Быстро отправься ко Сну в наводящую дрему обитель
И прикажи, чтобы он Алкионе послал в сновиденье
Мужа покойного тень, подобие подлинной смерти!»
Молвила так — и в покров облекается тысячецветный
Вестница и, небеса обозначив округлой дугою,
В скрытый под скалами дом отлетела царя сновидений.
Близ Киммерийской земли, в отдаленье немалом, пещера
Есть, углубленье в горе, — неподвижного Сна там покой.
Не достигает туда, ни всходя, ни взойдя, ни спускаясь,
Солнце от века лучом: облака и туманы в смешенье
Там испаряет земля, там смутные сумерки вечно.
Песней своей никогда там птица дозорная с гребнем
Не вызывает Зарю; тишину голоса не смущают
Там ни собак, ни гусей, умом собак превзошедших.
Там ни скотина, ни зверь, ни под ветреным веяньем ветви
Звуча не могут издать, людских там не слышится споров,
Полный покой там царит. Лишь внизу из скалы вытекает
Влаги летеиской родник; спадает он с рокотом тихим,
И приглашают ко сну журчащие в камешках струи.
Возле дверей у пещеры цветут в изобилии маки;
Травы растут без числа, в молоке у которых собирает
Дрему росистая ночь и кропит потемневшие земли.
Двери, которая скрип издавала б, на петлях вращаясь,
В доме во всем не найти; и сторожа нет у порога.
Посередине кровать на эбеновых ножках с пуховым
Ложем — неясвенен цвет у него, и покров его темен.
Там почивает сам бог, распростертый в томлении тела.
И, окружив божество, подражая облициям разным,
Всё сновиденья лежат, и столько их, сколько колосьев
На поле, листьев в лесу иль песка, нанесенного морем.
Дева едва лишь вошла, сновиденья раздвинув руками,
Ей преграждавшие путь, — засиял от сверканья одежды
Дом священный. Тут бог, с трудом отягченные дремой

Очи подъемля едва и вновь их и вновь опуская
И упاداющим вновь подбородком о грудь ударяясь,
Все же встряхнулся от сна и, на ложе привстав, вопрошает —
Ибо ее он признал, — для чего появилась. Та молвит:
«Сон, всех сущих покой! Сон, между бессмертных тишайший!
Мир души, где не стало забот! Сердец усладитель
После дневной суеты, возрождающий их для работы!
Ты сновиденьям вели, что всему подражают живому,
В город Геракла пойти, в Трахины, и там Алкионе
В виде Кеика предстать и знаки явить ей крушенья.
Это — Юноны приказ». Передав порученье, Ирида
Вышла. Дольше терпеть не в силах была испарений,
Сон стал в теле ее разливаться, — она убежала
И возвратилась к себе ла той же дуге семицветной.
Сон же из сонма своих сыновей вызывает Морфея —
Был он искусник, горазд подражать человеческим обличьям, —
Лучше его не сумел бы никто, как повелено было,
Выразить поступь, черты человека и звук его речи.
Перенимал и наряд, и любую особенность речи,
Но подражал лишь людям одним. Другой становился
Птицей, иль зверем лесным, или длинною телом змеею.
Боги «Подобным» его именуют, молва же людская
Чаще «Страшилом» зовет. От этих отличен искусством
Третий — Фантаз: землей, и водой, и поленом, и камнем —
Всем, что души лишено, он становится с вящим успехом.
Эти царям и вождам среди ночи являют обычно
Лики свои; народ же и чернь посещают другие.
Ими старик пренебрег; из братьев всех он Морфея,
Чтоб в исполненье привести повеления Таумантиды,
Выбрал; и снова уже, обессилен усталостью томной,
Голову Сон преклонил и на ложе простерся высоком.

Вот Морфей полетел, на крыльях рея бесшумных,
Сквозь темноту и спустя недолгое время явился
В град гемонийский и там отложил свои крылья и принял
Облик Кеика-царя и отправился, в облике новом,

Иссиня-желт, без кровинки в лице, без всякой одежды,
К ложу несчастной жены и стал там; мокры казались
И борода, и волос обильно струящихся пряди.
Так, над постелью склонясь и лицо заливая слезами,
Молвил: «Несчастливая, ты узнаешь ли Кеика, супруга?
Или мне смерть изменила лицо? Вглядишься: ты узнаешь;
Но не супруга уже обретешь, а призрак супруга.
Не помогли мне, увы, твои, Алкиона, обеты!
Да, я погиб. Перестань дожидаться меня в заблужденье!
Судно застиг грозовой полуденный, в Эгеевом море,
Ветер. Носил по волнам и разбил дуновеньем ужасным.
Эти уста, что имя твое призывали напрасно,
Воды наполнили; то не рассказчик тебе возвещает,
Коему верить нельзя, и не смутные слухи ты слышишь —
Сам о себе говорю, потерпевший кораблекрушенье!
Встань же; плакать зачни; оденься в одежды печали;
Без возрыданий, жена, не отправь меня в Тартар пустынный!»
Голос прибавил Морфей, который она за супружний
Голос могла бы принять; и казалось, доподлинно слезы
Он проливает; в руках движения были Кеика.
И застонала в слезах Алкиона; все время руками
Движет во сне; но, к телу стремясь, лишь воздух объекает
И восклицает: «Постой... Куда ж ты? Отправимся вместе!»
Голосом, видом его смущена, отряхает, однако,
Дрему и прежде всего озирается, все ли стоит он
Там, где виден был ей. Но, встревожены голосом, слуги
Свет внесли; и, когда не нашли его, как ни искали,
Бить себя стала в лицо, на груди разрывая одежды,
Ранит и грудь. Волос распустить не успела — стрижет их —
И на вопрос, отчего она плачет, кормилица молвит:
«Нет Алкионы уже, нет больше! Мертвую пала
Вместе с Кеиком своим. Прекратите слова утешенья!
В море супруг мой погиб: я видела, я распознала;
Руки простерла его задержать, как стал удаляться —
Тенью он был! Все ж тень очевидна была: то супруга
Подлинно тень моего. Но ежели спросишь — другим был

Облик его, необычным: лицом не сиял он, как прежде,
Бледный он был и нагой, со струящимися волосами
Перед несчастною мной! На этом вот месте стоял он
В образе жалком — искать я стала, следов не видать ли, —
Вот оно, вот оно то, что вещую душу страшило!
Чтобы за ветром вослед он не плыл, я его умоляла;
Как я хотела, чтоб он, коль уже отправлялся на гибель,
Взял с собой и меня! С тобою бы надо, с тобою
Плыть мне. Поскольку во всю мою жизнь ничего не свершила
Я несовместно с тобой — пусть были б и в смерти мы
вместе! —

Я погибаю одна. Одну меня бурей носит:
Нет меня в море, но все ж я у моря во власти; и моря
Горше да будет мне мысль, что стану стараться напрасно
Жизни срок протянуть, а с ней и великую муку!
Не постараюсь я, нет, тебя не оставлю, мой бедный!
Спутницей тотчас к тебе я отправлюсь — и если не урна
Свяжет в могиле двоих, то надпись надгробная. Если
Кости к костям не прильнут, хоть имени имя коснется».
Больше сказать не могла от страданья. Прервал ее слово
Плач, и жалобный стон из убитого сердца исторгся.
Утро пришло, и в тоске Алкиона выходит на берег
К месту, откуда она на отплывшего мужа глядела.
Молвит: «Медлил он здесь, здесь, — молвит, — парус он
поднял,
Здесь на морском берегу он меня целовал...» — повторяет.
Все, что свершилось тогда, пред очами встает; и на море
Бросила взор; в волнах на большом расстоянии что-то
Видится ей — будто тело плывет. Сначала не может,
Что там такое, решить. Но лишь малость приблизились
волны —
Явственно тело она признает, хоть оно и далеко.
Пусть не знала, кто он, но, видя, что жертва он моря,
Знаком дурным смущена, льет слезы над ним, незнакомым:
«Горе тебе, о бедняк, и твоей — коль женат ты — супруге!»
Тело меж тем на волнах приближалось. Чем далее смотрит,

Меньше и меньше она сомневается; вот уже близко,
Около самой земли: уже распознать его можно.
Смотрит: то был ее муж! «Он, он!» — восклицает и сразу
Волосы, платье, лицо раздрает; дрожащие руки
Тянет к Кеику она. «Ах, так-то, супруг мой любимый,
Так-то, мой бедный, ко мне возвращаешься?» — молвит.
У моря

Есть там плотина, людьми возведенная; первое буйство
Волн разбивает она и напор водяной ослабляет.
Вот вскочила туда и — не чудо ли? — вдруг полетела.
Вот, ударяя крылом, появившимся только что, воздух,
Стала поверхность волны задевать злополучная птица,
И на лету издавали уста ее жалобы полный,
Скорбный как будто бы звук трещанием тонкого клюва.
Вот прикоснулась она к немому бескровному телу,
Милые члены держа в объятии крыльев недавних,
Тщетно лобзанья ему расточает холодные клювом.
То ли почувствовал он иль почудилось ей, что приподнял
Он из приобоя лицо, толкуют по-разному; только
Чувствовал он. Наконец пожалели их боги, и оба
В птиц превратились они; меж ними такой же осталась,
Року покорна, любовь; у птиц не расторгся их прежний
Брачный союз: сочетают тела и детей производят.
Зимней порою семь дней безмятежных сидит Алкиона
Смирно на яйцах в гнезде, над волнами витающем моря.
По морю путь безопасен тогда: сторожит свои ветры,
Не выпуская, Эол, предоставивши море внучатам.

Из книги «Скорбные элегии»

3

Только представлю себе той ночи печальнейшей образ,
Той, что в Граде была ночью последней моей,
Только лишь вспомню, как я со всем дорогим расставался, —
Льются слезы из глаз даже сейчас у меня.

День приближался уже, в который Цезарь назначил
Мне за последний предел милой Авзонии плыть.
Чтоб изготавиться в путь, ни сил, ни часов не хватало;
Все отупело во мне, заоченела душа.
Я не успел для себя ни рабов, ни спутника выбрать,
Платя не взял, никаких ссыльному нужных вещей.
Я помертвел, как тот, кто, молнией Зевса сраженный,
Жив, но не знает и сам, жив ли еще или мертв.
Лишь когда горькая боль прогнала помрачавшие душу
Тучи и чувства когда вновь возвратились ко мне,
Я наконец, уходя, к друзьям обратился печальным,
Хоть из всего их числа двое лишь было со мной.
Плакала горше, чем я, жена, меня обнимая,
Ливнем слезы лились по неповинным щекам.
Дочь в то время была в отсутствии, в Ливии дальней,
И об изгнание моем знать ничего не могла.
Всюду, куда ни взгляни, раздавались рыдания и стоны,
Будто бы дом голосил на погребение моем.
Женщин, мужчин и даже детей моя гибель повергла
В скорбь, и в доме моем каждый был угол в слезах.
Если великий пример применим к ничтожному делу —
Троя такую была в день разрушения ее.
Но и людей и собак голоса понемногу притихли,
И уж луна в небесах ночи коней погнала.
Я поглядел на нее, а потом и на тот Капитолий,
Чья не на пользу стена с Ларом сомкнулась моим.
«Вышние силы, — сказал, — чья в этих палатах обитель,
Храмы, которых моим впредь уж не видеть глазам,
Вы, с кем я расстаюсь, Квиринова гордого града
Боги, в сей час и навек вам поклоненье мое!
Пусть я поздно берусь за щит, когда уже ранен, —
Все же изгнания позор, боги, снимите с меня.
Сыну небес, я молю, скажите, что впал я в ошибку,
Чтобы вину он мою за преступление не счел.
То, что ведомо вам, пусть услышит меня покаравший.
Умилосердится бог — горе смогу я избыть».

Так я всевышних молил; жены были дольше моления,
Горьких рыданий ее всхлипы мешали словам.
К Ларам она между тем, распустив волоса, припадала,
Губы касались, дрожа, стывшей алтарной золы.
Сколько к Пенатам она, не желавшим внимать, обращала
Слов, бессильных уже милого мужа спасти!
Но торопливая ночь не давала времени медлить,
Вниз от вершины небес нимфа аркадская шла.
Что было делать? Меня не пускала любимая нежно
Родина — но наступил крайний изгнания срок.
Сколько я раз говорил поспешавшим: «К чему торопиться?
Вдумайтесь только, куда нам и откуда спешить!»
Сколько я раз себе лгал, что вот уже твердо назначил
Благоприятнейший час для отправления в путь.
Трижды ступил на порог и трижды вернулся — казалось,
Ноги в согласье с душой медлили сами идти.
Сколько я раз, простившись, опять разговаривал долго
И, уж совсем уходя, снова своих целовал.
Дав порученье, его повторял; желал обмануться,
В каждом предмете хотел видеть возврата залог.
И наконец: «Что спешить? — говорю. — Я в Скифию выслан,
Должен покинуть я Рим; медля, я прав, и вдвойне!
Я от супруги живой живым отторгаюсь навеки,
Дом оставляю и всех верных домашних своих.
Я покидаю друзей, любимых братской любовью, —
О, эта дружба сердец, верный Тесея завет!
Можно еще их обнять, хоть раз — быть может, последний, —
Я упустить не хочу мне остающийся час».
Медлить больше нельзя. Прерываю речь на полслове,
Всех, кто так дорог душе, долго в объятьях держу.
Но, между тем как еще мы прощались и плакали, в небе
Ярко Денница зажглась — мне роковая звезда.
Словно я надвое рвусь, словно часть себя покидаю,
Словно бы кто обрубил бедное тело мое.
Метий мучился так, когда ему за измену
Кони мстили, стремя в разные стороны бег.

Стоны и вопли меж тем моих раздаются домашних,
И в обнаженную грудь руки печальные бьют.
Вот и супруга, вися на плечах уходящего, слезы
Перемешала свои с горечью слов, говоря:
«Нет, не отнимут тебя! Мы вместе отправимся, вместе!
Я за тобою пойду, ссыльного ссыльной женой.
Путь нам назначен один, я на край земли уезжаю.
Легкий не будет мой вес судну изгнания тяжел.
С родины гонит тебя разгневанный Цезарь, меня же
Гонит любовь, и любовь Цезарем будет моим».
Были попытки ее повторением прежних попыток,
И покорились едва мысли о пользе она.
Вышел я так, что казалось, меня хоронить выносили,
Грязен, растрепан я был, волос небритый торчал.
Мне говорили потом, что, света невзвидя от горя,
Полуживая, в тот миг рухнула на пол жена.
А как очнулась она, с волосами, покрытыми пылью,
В чувства придя наконец, с плит ледяных поднялась,
Стала рыдать о себе, о своих опустевших Пенатах,
Был что ни миг на устах силою отнятый муж.
Так убивалась она, как будто бы видела тело
Дочери или мое пред погребальным костром.
Смерти хотела она, ожидала от смерти покоя,
Но удержалась, решив жизнь продолжать для меня.
Пусть живет для меня, раз так уже судьбы судили,
Пусть мне силы крепит верной помощью своей.

Из арабской поэзии

Омар ибн Аби Раbia

(644—712)

* *
*

Кто болен любовью и ревности видел кипенье,
Кто долго терпел и, страдая, теряет терпенье,

Тот жаждал всечасно, и цель им владеет одна,
Но, сколько ни бейся, ни ближе, ни дальше она.

Подумает только: «Я хворь одолел!» — но, угрюмый,
Вновь страстью кипит, осаждаем назойливой думой:

«Она холодна», — и тотчас из горящих очей
Покатятся слезы и в бурный сольются ручей.

Когда он один, со своею желанной в разлуке,
Бедняк убежден, что до гроба не кончатся муки.

Он призраком бродит, покойником стал, хоть и жив,
На плечи любовь непосильною ношей взвалив.

И жизнь ненавистна, и ум ни во что не вникает,
Кто любит такую, на гибель себя обрекает;

Лишится ума, кто влечения к ней не уймет;
Замрет в удивленьи, кто нрав ее честный поймет.

* *
*

Вкушу ли я от уст моей желанной,
Прижму ли к ним я рот горящий свой?

Дыханье уст ее благоуханно,
Как смесь вина с водою ключевой!

Грудь у нее бела, как у газели,
Питающейся сочною травой.

Ее походка дивно величава,
Стройнее стан тростинки луговой.

Бряцают ноги серебром, а руки
Влюбленных ловят петлей роковой.

Влюбился я в ряды зубов жемчужных,
Как бы омытых влагой заревой.

Я ранен был. Газелью исцеленный,
Теперь хожу я с гордой головой.

Я награжден за страсть, за все хваленья,
За все разлуки жизни кочевой.

К тебе любовь мне устрашает душу,
Того гляди, умрет поклонник твой.

Но с каждым днем все пуще бьется сердце
И мучит страсть горячкой огневой.

Мне долго ль поцелуя ждать от той,
Что в мире всем прославлена молвой?

Что превзошла всех в мире красотой —
И красотой своей, и добротой!

* *
*

Возле Мекки ты видел приметный для взора едва
След бывшего кочевья? Не блеснет над шатром булава,

И с востока и с запада вихри его заносили,
Ни коней, ни людей — не видать и защитного рва.

Но былую любовь разбудили останки жилища,
И тоскует душа, как в печали тоскует вдова.

Словно йеменский шелк иль тончайшая ткань из Джаруба,
Перекрыла останки песка золотого плева.

Быстротечное время и ветер, проворный могильщик,
Стерли прежнюю жизнь, как на пальмовой ветви слова.

Если влюбишься в Нум, то и знахарь, врачующий ловко
От укусов змеи, потеряет над ядом права.

В Нум, Аллахом клянусь, я влюбился, но что же? Я голос,
Воющий в пустыне, и знаю: пустыня мертва.

За даренья любви от любимой не вижу награды,
Дашь займы ей любовь — жди отдачи не год и не два.

Уезжает надолго, в затворе живет, под надзором, —
Берегись подойти, за ничто пропадет голова!

А покинет становье — и нет у чужого надежды
Вновь ее повстречать — видно, доля его такова!

Я зову ее «Нум», чтобы петь о любви без опаски,
Чтоб досузей молвы не разжечь, как сухие дрова.

Скрыл я имя ее, но для тех, кто остер разумением,
И без имени явны приметы ее существа.

В ней врага наживу, если имя ее обнаружу, —
Здесь ханжи и лжецы, клевета негодяев резва.

Сколько раз я уже лицемеров не слушал учтивых,
Отвергал поученья ее племенного родства.

Сброд из племени сад твоего недостоин вниманья,
Я ж известен и так, и в словах моих нет хвастовства.

Меня знают и в Марибе все племена, и в Дурубe,
Там, где резвые кони, где лука туга тетива

Люди знатные мы, чистокровных владельцы верблюдов,
Я испытан в сраженьях, известность моя не нова.

Пусть бегут и вожди, я не знаю опасностей бранных,
Страх меня не проймет, я сильнее пустынного льва.

Рода нашего жен защищают бойцы удалые,
В чьем испытанном сердце старинная доблесть жива.

Враг не тронет того, кто у нас покровительства ищет,
И о наших делах не забудет людская молва.

Знаю, все мы умрем, но не первые мы — не исчислить
Всех, умерших до нас, — то всеобщий закон естества.

Мы сторонимся зла, в чем и где бы оно ни явилось,
К доброй славе идем, и дорога у нас не крива.

У долины Батха вы спросите, долина ответит:
«Это честный народ, не марает им руку лихва».

На верблюдицах серых со вздутыми бегом боками
Лишь появимся в Мекке, — яснее небес синева.

Ночью Ашаса кликни — поднимется Ашас и ночью,
И во сне ведь душа у меня неизменно трезва.

В непроглядную ночь он на быстрой верблюдице мчится,
Одолел его сон, но закалка его здорова;

Хоть припал он к луке, но и сонный до цели домчится,
Если б сладостным сном подкрепиться в дорогу сперва.

Абу Нувас

(ок. 762— ок. 815)

* *
*

Я с душой своей измученной
и никем не обогретою
То и дело горько жалуясь,
то и дело горько сетую.
Все слова я перепробовал,
перебрал все выражения,
Все выискивал, откапывал,
применял без небрежения.
Повторял я, передумывал,
что сказать мне надлежало бы,
И опять к ушам невнемлющим
приношу пустые жалобы.
Если б даже выразался я
на персидском или греческом,
То, наверное, услышал бы
отклик в сердце человеческом.
Я же рабствую униженно,
я бесчувственную сватаю —
Не пробьешься в грудь кремневую
ни киркою, ни лопатою,
Ты, газель, улыбкой радости
иль слезами огорчения
Дашь мне мира воссияние
иль вселенной помрачение.

* *
*

О, сколько ночей,
 полыхавших созвездьями всеми,
Чернее, чем море
 в накатах взволнованной теми,
О, сколько ночей
 проводил я, счастливый, бессонный,
С тростинкою стройной,
 песчаным холмом отягченной.
Градинок в улыбке
 сверкал ожерелок перловый,
Казались ланиты
 плодами из кости слоновой.
Весь лик ее был
 в обрамленье волос благовонном
Подобен луне,
 проплывающей небом бездонным.
Я миг улучил,
 но хмельная бежать захотела.
Меня облукавить!
 Напрасно! Потом пожалела:
Глаз розовой влагою
 розу лица поливала
И шелком ладони
 ланит своих шелк избивала.
Не стал торопить я
 желанной любви угожденья,
Но встала заря
 и велела прервать наслажденья.

* *
*

Лишь заря под кровом ночи
посребрила небеса,
Показались над рубахой
дня седые волоса,
Лишь уйти велела ночи
предрассветная роса
И в губах у эфиопа
перлов спряталась краса,
Мы устроили охоту,
взяли опытного пса —
Так натягивал он повод,
словно в бурю паруса.
Поскакали, лай собачий
громкозвучный поднялся,
И силен был пес, и молод,
мог он делать чудеса.
Он бежал, поджар и гибок,
словно девичья коса,
Словно по полю гадючья
вдаль змеилась полоса.
Когти — бритвы, описать их
мне изменят словеса —
Басру целую такими
перебреешь в полчаса!
Мчится он, едва услышит
доезжачих голоса —
Так и жди, что вон из шкуры
песьи выйдут телеса!
Позади уже остались
горы, доли и леса.
Кажется, что он уж вовсе
от земли оторвался.
Так, напившись и раздевшись
догола и добоса,

Топчет пьяница обмотки
и цветные пояса.
И газелей робких стая,
за которой он гнался, —
Клубом вьется под зубами
их терзающего пса.

Из латинской поэзии эпохи Возрождения

Иоанн Секунд

(1511—1536)

Из книги «Поцелуи»

9

Не все мне влажный ты поцелуй давай
С умильным смехом, с шепотом ласковым,
И не всегда, обняв за шею,
Изнемогая, ко мне склоняйся!

Своя есть мера и для приятных дел,
И чем сильнее радость в душе моей,
Тем легче скуку и томленье
Вслед за собою приносит снова.

Коль поцелуев трижды я три прошу,
Ты вычти семь и разве лишь два мне дай,
И то не длинных и не влажных, —
Но как дает стрелonosцу брату

Диана-дева иль как дает отцу
Еще любви не знавшая девушка, —
А после, резвая, подальше
С глаз моих зыбкой беги стопую!

Потом в покои самые дальние
И в закоулки скройся укрomные,
Но и в глубоких закоулках,
В дальних тебя разыщу покоях!

И — победитель пылкий — на жертву я
Свои накинута руки властительно.
Схвачу, как мирную голубку
Ястреб изогнутыми когтями!

И ты отдашь мне руки молящие,
И ты, на мне повиснув, безумная,
Меня захочешь успокоить,
Радостных семь подарив лобзаний.

Ошиблась: чтобы смыть преступление,
Соединим лобзаний мы семью семь!
Рукой, что цепью, эту шею
Буду задерживать, о беглянка.

Доколь, исполнив всех поцелуев счет,
Не поклянешься всеми Любоями,
Что за такой проступок чаще
Будешь нести наказание тем же.

12

Что лицо отстраняете стыдливо,
Вы, матроны и скромницы девицы?
Я проделок богов не воспеваю,
Не пою и чудовищных пороков,
Песен тут непристойных нет, которых
В школе ученикам своим невинным
Не прочел бы взъерошенный учитель.
Я пою безобидные лобзанья,
Чистый жрец хороводов аонийских.
Но лицо приближают вдруг зазорно
И матроны, и скромницы девицы,
Потому что случайно по незнанью
Сорвалось у меня одно словечко...

Прочь отсюда, докучливая стая,
И матроны, и девушки дурные!
О, насколько моя Неера чище —
Хоть сомненья в том нет: без слова книга
Ей любезнее, чем поэт — без стержня.

Из немецкой поэзии

Иоганн Вольфганг Гёте

(1749—1832)

ПОСВЯЩЕНИЕ

Настало утро; шествуя, согнало
Спокойный сон, владевший нежно мной,
И, пробудившись, из лачуги малой
Пошел я в гору с легкою душой.
И что ни шаг, то сердце ликовало
Младым цветам, поникшим под росой.
Заря с восторгом небо осветила.
Все было бодро и меня бодрило.

Меж тем с реки, бегущей чрез долину,
Пополз туман грядями возле гор.
Меняясь, скрыл меня наполовину
И над головой моей крыла простер.
Зреть перестал я дивную картину,
Всю местность пасмурный окутал флер;
Как будто обдан был я облаками,
Весь в сумрак погружен под их клубами.

Но вдруг луч солнечный во мгле пробился,
Среди тумана свет явился мне.
Здесь долу, падая, туман стелился,
Там, в клочьях, плыл к лесистой вышине.
Как первым встретить солнце я стремился!

Я ждал его — прекраснее вдвойне.
Воздушный длился бой, незавершенный,
И блеском был я залит, ослепленный.

И снова быть с отверстыми очами
Велели чувства, бодрости полны,
Но веки тотчас закрывались сами,
Сияньем и огнем поражены.
В тот миг предстал, паря над облаками,
Вдруг образ мне божественной жены.
Мне жизнь таких видений не дарила:
Взгляд кинув на меня, жена парила.

«Иль не узнал? — уста ее сказали.
Лились верность и любовь из н и х . —
Иль узнаешь? Живительный не я ли
Несла бальзам для многих ран твоих?
Меня ты знаешь. Навсегда связали
Твои порывы крепко нас двоих.
Не зрела ль я, как с жаркою слезою
Ты — мальчиком — уже томился мною?»

«Да! — я вскричал, к земле в благоговенье
Склонясь. — Давно я чувствовал тебя,
Давала ты страстям успокоенье,
Что плоть младую мучили, губя;
Небесных перьев чуял я движенье,
Когда мой лоб студила ты, любя;
Меня ты лучшей одарила частью,
Лишь чрез тебя я стал причастен счастью.

Тебя не нареку — хоть часто имя
Дают тебе и все зовут своей.
И мнится всем: ты зрима только ими.
Но скольким в муку блеск твоих лучей!

Блуждая вкривь, я звал людей своими;
Узнав тебя, остался без друзей.
Ах, лишь с собой теперь я счастье трачу,
Твой свет благой скрываю я и прячу».

Рекла с улыбкой: «Видишь, как умно,
Как нужно было — чуть снимать покровы?
Не быть глупцом давно ль тебе дано,
Давно ль желаний детских смолкли зовы?
Сверхчеловеком мнишь себя давно,
Мужчины долг исполнить не готовый.
Чем от других ты отличился в мире?
Познай себя, живи с живыми в мире».

«Прости, — вскричал я, — если так я мнил;
Открыв глаза, вотще ли видеть надо?
В крови я чую бодрой воли пыл,
Мне памятна щедрот твоих награда!
Твое добро я для других возрастил
И зарывать уже на стану клада!
С толиким рвением я искал пути
Не для того ль, чтоб братьев повести?»

Мне отвечая, взором снисхожденья
Высокое взглянуло существо,
И я прочел всех дел моих прозренье,
В чем ошибался и, достиг чего.
Улыбкой мне несла выздоровленье;
Вновь дух воспрял, горе влекло его.
С доверием душевным я решился
К ней ближе стать и на нее воззрися.

Простерла руку до паров, что встали
Легчайшим облаком со всех сторон,
Хватала их — и плотность обретали;

Тянулся пар, собой уж не был он.
По долу вновь глаза мои блуждали,
Стал снова чист и светел небосклон;
Лишь тысячами складок покрывало,
Из рук струяся, стан ей обвивало.

«Ты мне знаком, и в чем ты слаб — я знаю,
Что доброе живет в тебе, что спит, —
Так молвила, и вечно ей внимаю. —
Вот мой завет, он был доселе скрыт:
Кто дар возьмет, который я вручаю
С душою тихой, — бедствий не узрит!
Из утра соткана и дымки млечной
Поэзии фата, дар правды вечной.

Друзья ли, сам ли затомишься зноем,
Кинь в воздух дня поэзии покров —
Повеет вмиг вечеровым упоем,
Потянет пряно запахом цветов,
Земные страхи сменятся покоем.
Могилы нет — есть ложе облаков.
Все жизненные усладятся волны,
Дни будут милы, ночи — света полны.

Ко мне же, други, если, утомленны,
Вы жизни груз устанете нести.
И если годы будут благосклонны,
Цветы, плоды пошлют вам на пути.
В грядущий день спешим, объединенны!
Так мы живем, так счастливы брести.
Пусть внуков взор слезой о нас затмится —
На радость им любовь пусть наша длится».

Из книги «Новые песни»

БЛИЗОСТЬ ЛЮБИМОГО

Все в мыслях ты, когда из моря блещет
Мне солнца луч;

Все в мыслях ты, когда луной трепещет,
Сверкая, ключ;

Все ты в глазах, взметнется ль на равнине
Дорожный прах;

В глухой ночи, когда знобит в теснине
Скитальца страх;

Все ты в ушах, когда встает, бушуя,
Прибой волны;

В лесную чащу слушать выхожу я
В час тишины;

Все ты со мной, хотя и в дальней дали,
Я близ тебя!

Заходит день, уж звезды заблестали —
Дождусь ли я?

Из книги «Западно-восточный диван»

ГЕДЖРА

Север, Запад, Юг — в крушенье,
Тронов трепет, царств паденье;
На Восток ты скройся дальный
Воздух пить патриархальный!
Где любовь, пирушки, песни,
В струях Хизера воскресни.

Там я в чистом, там я в правом
Сниду к глубям величавым,
Род явившим человечий,
Где небесный в дольней речи
Смысл из божьих уст внимали
И голов не поломали.

Где отцов высоко чтили,
Чужакам ни в чем не льстили;
Взвеселюсь, что в юном мире
Уже мысль и вера шире,
Слово ж — веская основа,
Если вымолвлено слово.

С пастухами потружусь я,
В тень оаза погружусь я,
Развозя по разным странам
Мускус, кофей с караваном,
Все пути узнаю ныне,
Что ко градам из пустыни.

Трудный путь между скалами
Усладишь, Гафиз, стихами,
Лишь начнет вожак Востока
С ишака спины высокой
Петь, чтоб звездам зажигаться,
Чтоб разбойникам пугаться.

Я с тобой, Гафиз, заране
Речь веду в шинке и бане.
Вот у милой из-под шали
Кудри амброй задышали.
Да, вдохнет поэта лепет
Даже в гурий страсти трепет.

Если станете, ревнивы,
Отравлять поэту дни вы,
Знайте, что слова поэта
К двери рая, к дому света
Стук легохонький доносят
И о вечной жизни просят.

Из французской поэзии

Жоашен Дю Белле

(1522—1560)

ПЬЕРУ ДЕ РОНСАРУ

Воспой попытку дерзновенных
Гигантов, буйных смельчаков,
Неистово испепеленных
Перуном отчим с облаков,
Иль ряд томительных трудов,
Что от Юноны злой, без смены,
Терпел всесильный сын Алкмены.

Воспой воинственные грозы —
Твой громок стих и стиль высок, —
Воспой еще влюбленных слезы,
Иль тук полей, деревьев сок,
Иль ручейка прозрачный ток
С горы кремнистой, — ток, поящий
Луга равнины близлежащей.

Воспой Цереры чудеса
Иль Вакха буйные тревоги,
Воспой священные леса,
Полубогов глухие логи;
Тебя да посетят все боги —
Плутон, Нептун, властитель бурь,
И ветры, тмящие лазурь.

Ну, словом, пой все то, что пели
Гомер с Мароном в оны дни,
В чем Пиндар с Флакком преуспели, —
Чтоб стать бессмертным, как они,
Назло змее, что искони
В бессилье сокрушить не может
Того, что ум высокий сложит.

Дела твои пребудут доле,
Чем некий цирк иль Колизей,
Ни даже память о Мавсоле,
Чей камень, всех других ценней,
Поразвалился в беге дней,
Или чем всякий дивный труд,
Что руки мастера дадут.

А я, поскольку не пивал
Струи священной в скромной доле
И, как Юпитер, не мечтал
Средь небожителей тем бо л е , —
Я развлекаюсь поневоле
Близ Пана, что, таясь в кустах,
Звонит на сельских тростниках.

Но если памятник поставить
Желаешь ты на много дней,
То почему бы не прославить
Тебе предмета поважней?
Друг, к высотам пари смелей —
А ты в смирении всегда лишь
Мой стих ученый только хвалишь.

Когда б, Меркурий краснословный,
Меня ты больше примечал
Иль ты, о Феб, я, безусловно,
Достойной песнью бы звучал:
Я бы в писаньях увенчал
Навек, с триумфом и со славой,
Лирэй с Луарой величавой.

Пьер де Ронсар

(1524—1585)

К СВОЕМУ ЛАКЕЮ

Я устал и заскучал!
Слишком долго изучал
Я Арата «Феномены».
Мне пора распрямить члены,
Выйти в поле погулять.
Боги! Тех ли восхвалять,
Кто, к своей прилипнув книге,
Упускают жизни миги?

Что нам пользы изучать?
Для того ли, чтоб скучать
И в заботы погружаться, —
Осужденным, может статься,
Не сегодня завтра в пасть
Орка черного попасть?!
Коридон, вперед ступай!
Где добрей вино, узнай!
Остудить вели мне флягу!
Отыщи мне тень! Я лягу
Под деревья, на цветы.
Мяса мне не купишь ты,
Вкус хоть вижу в блюде этом,
Мне несносно мясо летом.

Ты бы лучше мне принес
Артишок и абрикос,
Земляники, сливок тоже —
Вот что летом мне дороже,
В час, когда вблизи ручья
Пью, внимая водам, я,
Растянувшись возле влаги
Иль в каком-нибудь овраге.

Ныне радости хочу,
Беспрерывно хохочу —
А не то недуг привяжет
Да когда-нибудь и скажет:
«Вот! Тебя я победил!
Франт, умри! Довольно жил!»

Из цикла «Сонеты к Елене»



Сажаю в честь твою я дерево Кибелы —
Сосну, чтоб о тебе все знали времена;
Любовно вырезал я наши имена,
И вырастет с корой их очерк огрубелый.

Вы, населившие родные мне пределы,
Луары резвый хор, вы, Фавнов племена!
Заботой вашею пусть вырастет сосна,
И летом и зимой пусть ветви будут целы.

Пастух, ты пригонять сюда свой будешь скот,
С тростинкой напевать эклогу в этой сени;
Дощечку на сосну ты вешай каждый год.

Прохожий да прочтет мою любовь и пени —
И вместе с молоком ягненка кровь прольет,
Сказав: «Сосна свята. То память о Елене».

* *
*
*

Когда уж старенькой, со свечкой, перед жаром
Вы будете сучить и прясть в вечерний час,
Пропев мои стихи, вы скажете, дивясь:
«Я в юности была прославлена Ронсаром!»

Тогда последняя служанка в доме старом,
Полузаснувшая, день долгий натруясь,
При имени моем согнав дремоту с глаз,
Бессмертную хвалой вас окружит недаром.

Я буду под землей и — призрак без кости —
Смогу под сенью мирт покой свой обрести.
Близ углей будете старушкой вы согбенной

Жалеть, что я любил, что горд был ваш отказ...
Живите, верьте мне, ловите каждый час,
Срывать не медлите роз жизни цвет мгновенный.

Жан Расин

(1639—1699)

Из трагедии «Федра»

* * *

*

Ф е д р а

Старее мой недуг. Едва лишь сын Эгея
С собой меня связал цепями Гименея —
Казалось, я нашла и счастье и покой, —
Мне был Афинами показан недруг мой.
Увидела его; зарделась, побледнела;
Потерянной душой смущенье овладело.
Взор видеть перестал, уста мои свело,
Все тело бедное знобило мне и жгло.
Венеры грозный пыл уже я различала —
Неотвратимых мук в крови моей начало.
Стараясь отвратить богини торжество,
Ей храм построила, украсила его
И, жертвами себя всечасно окружая,
Молилась, разум свой вернуть воображая.
Лекарство жалкое для гибельных страстей!
Напрасно фимиам я жгла у алтарей!
Когда мои уста стремились к богине,
В душе был — Ипполит. У ступеней святыни
Все жертвовала я, всем богу одному;
Не смея называть, молилась лишь ему.
Его бежала я. Отчаяние снова!
Его встречала я в чертах лица отца.
И наконец сама восстала на себя
И начала его преследовать, любя.

Чтобы изгнать его, мне бывшего кумиром,
Я злою мачехой прикинулась пред миром.
Я торопила срок, стеная без конца;
Его отторгла я от отчего лица.
Тогда вздохнула я, и с ним в разлуке длинной
Дням возмутившимся вернулся ход невинный.
Я, мужу покорясь, скрывая сердца гнет,
Гимена мрачного выращивала плод.
О меры тщетные! О рок немилосердный!
С собой в Трезену взял меня супруг усердный,
Врага-изгнанника увидела я вновь.
И снова потекла из свежей раны кровь.
Уже не тайный пыл мое смущает тело —
Венера целиком добычей завладела.
И ныне грех меня недаром устранил.
Мне ненавистна жизнь, ужасен сердца пыл.
Я призывала смерть, о доброй помня славе,
Я знала — страсти той я выказать не вправе.
Но не могла снести я плач твой и порыв,
Тебе раскрыла все — и счастлива, раскрыв.
Но, о моем конце печалюсь недалеко,
Не огорчай меня неправым ты упреком
И брось надеяться, что от твоих забот
Жар погасающий неожиданно оживет.

.....

Т е р а м е н

Так: от Трезенских врат мы отделились мало;
Он в колеснице был; царевича недуг
Вселил безмолвие в его примерных слуг.
Задумчив ехал он дорогой на Микены.
Он вожжи опустил, как миновали стены,
И чудо-жеребцы, привыкшие к тому,
Чтоб и в горячности покорствовать ему,

Со взором пасмурным, с опущенною мордой
Теперь как бы слились с его печалью гордой.
Крик ужасающий, возникнув из волны,
Нарушил вдруг покой воздушной тишины.
А из глубин земли вдруг раздается дико
Невероятный стон, еще страшнее крика.
Застыла кровь, и льда мы стали холодной;
Шерсть ошетижилась внимательных коней.
И в этот самый миг, равнину вод тревожа,
Пучина поднялась, на пенный холм похожа.
Дробится брызгами вскипающий разбег
И извергает вдруг чудовище на брег.
Широкий лоб его вооружен рогами,
Все тело желтыми покрыто чешуями,
Неукротимый бык, неистовый дракон,
Спиралями хребет ужасный закруглен;
И от мычания побережье содрогнулось,
И небо в ужасе от гада отвернулось.
Зараза — в воздухе, земная грудь дрожит;
Его принеший вал в испуге прочь бежит;
Всё — в бегстве, и, боясь, что миг настал последний,
Напрасно не храбрясь, мы скрылись в храм соседний.
Один лишь Ипполит, отца достойный плод,
Одернул четверню, схватил рукою дрот,
Мчит на чудовище, и вот удар искусный
Раненье тяжкое нанес утробе гнусной.
От боли чудовище вскочило сгоряча
И вот к ногам коней повергнулось, рыча,
Катается, и пасть в огне невыносимом
Их кроет пламенем, и кровию, и дымом,
И, обезумевши, несясь на всем ходу,
Они не слушают ни голос, ни узду.
Царевич их сдержатъ стремится — труд напрасный!
Уже их удила покрылись пеной красной,
И кто-то увидал, что острием клинка
Бог некий уязвлял их пыльные бока.

И между скал уже несется колесница.
И ось уж треснула. Бестрепетный возница
Все правит. Вдребезги и кузов уж разбит,
И, путаясь в вожжах, влачится Ипполит.
Простите боль мою — но этот вид ужасный
Источник для меня печали ежечасной.
Я видел, государь, как ваш несчастный сын
Влеком конями был — их прежний господин.
Услышав крик его, они несутся рьяно
В испуге. Плоть его — уже сплошная рана...
И скорби воплями мы огласили брег.
Но кони наконец замедлили свой бег
И стали близ могил, где высится в покое
Скончавшихся царей надгробье родовое.
Я бросился туда, и стражи — вслед за мной.
Все к месту мы бежим кровавою тропой.
Вокруг на скалах кровь; на злых колючих травах —
Ужасные для глаз клоки волос кровавых.
Я добежал, зову, но, руку протянув,
Взор умирающий открыл и, вновь сомкнув,
«Невинным, — он с к а з а л, — я гибну, в миг прощальный
Молю: опорой будь Ариции печальной,
Мой друг, и, ежели, разубедясь, отец
Над жертвой клеветы заплачет наконец,
Чтоб кровь мою смирить, дать утешенье тени,
Пусть пленницу свою он держит в кротком плене
И пусть он ей вернет...» Но уж в моих руках
Обезображенный лежал героя прах —
Свидетель грозного бессмертных приговора
И для отцовского неузнаваем взора.

Альфред де Мюссе

(1810—1857)

О ЛЕНОСТИ

«Да, редко я пишу, зато молчу охотно.
Не то чтоб лениности был предан беззаботно,
Но только лишь перо рука моя взяла,
В нем тяжесть чувствую галерного весла». —
Кто автор этих строк, скажите-ка по чести?
«Альфред, — вы скажете, — пропасть на этом месте!»
Нет, мне не написать, поверить вас прошу,
Так кратко и остро о том, что не пишу!
Свой величавый дух с его мышленьем трезвым
Запечатлел в стихе столь мужественно-резвом
Сам Матюрен Ренье (снимите ваш берет),
Мольера славного достойный славы дед.
Язык наш, словно воск, он мял во время оно,
И тот достоин стал гипербол Цицерона.
Оставил и во мне он благотворный след.
Когда вбирал я все, что мне внушал сосед,
Моей невинности он явлен был. При этом
Ведь он примером был моим авторитетам!
Хоть с этого пути случилось мне свернуть,
Я благодарен им, мне указавшим путь...
Итак, я размышлял вчера в уединенье:
Бесстрашный человек, не давший сомненья,
Прямолинейностью страдавший от пелен, —
Коль он молчал тогда, как ныне жил бы он?

И тут глазам моим представилась картина:
Вся наша грязь и вздор, вся эта мешанина,
Из коей, верно бы, состряпал он компот
Такой, чтобы века всем надрывать живот.
Во-первых, страшный бич, дающий всем острастку, —
Владыка Журнализм, ведущий свистопляску,
Глупец, кому дано при помощи столбцов
Дурачить по утрам три тысячи глупцов.
Бумагократия, засилье писанины,
Где плоский фельетон попал во властелины,
Чан илистых чернил, которыми Фрерон
Забрызгивает всех и даже самый трон!
Затем: как будто бы мы строже год от году,
А попросту — концы умеем прятать в воду,
В каком-нибудь углу свершив привычный грех,
Который вызвал бы у предков бурный смех.
А речи пышные и болтовня в гостиную!
Наш европейский ум, вернее — петушинный,
Уменье вежливо, изящно оскорбить
И даже по лицу парламентарно бить.
Потом: ублюдки книг, плачевные химеры
Во вкусе дворницких, и жалкие мегеры,
Что без любовников — и без мужей притом, —
Как куры, все-таки несут за томом том.
Поглубже есть беда — что вера улетела.
Молитва шепчется уныло и несмело,
И тех, чей взор горе, чьи праведны уста,
Ждет запыленный крест и в небе пустота.
Затем — звон золота, корысти гнусный веред,
Довольство зверское, что в свой кумир лишь верит,
Тупейший эгоизм, обжорство, мотовство,
Вином набухшее, храпящее скотство!
И деспот наших дней, чума вдвойне л и х а я , —
Посредственность. Она, себя лишь понимая,
Готова, чтобы пар при плавке гуще шел,
Отправить заодно и Цезаря в котел.

Тлетворный дух в суде и липкие ладони —
Мать-родину давно тошнит от этой вони.
Недолго было бы ей потерять и честь,
Но гордость детская ей все поможет снести.
Затем еще есть грех — смешной, настолько малый,
Что поминать о нем не стоило б, пожалуй, —
Копанье в будущем. Я знаю этот сброд,
Твердящий: «О сестра, нас правда что-то ждет?»
Затем — зло едкое, на грани преступления:
Честолюбивые и вредные сужденья —
Их старой истиной и то не назовешь,
А нам подносят их как новизну — и что ж?
Кто в галунах Руссо, а кто в тряпье Вольтера,
Кто карманьолы клочок украл у Робеспьера —
Чудесный гардероб! Одет в такой убор
Державных выскочек нечистоплотный двор.
И наконец, сказать осталось о немногом:
Еще безумцев бред, бродящих по дорогам,
Чтобы поссорить плуг с крестьянской рукой,
Унынье поселить в пустынной мастерской,
Господним именем на милость подаянья
Обречь несчастного без крова и питанья,
От крови ржавый нож дать в руку бедноте,
Убийцу подтолкнуть и скрыться в темноте.
О да! Задира наш тут отпустил бы шутку —
Шатун, умевший «стих приманивать на дудку», —
Когда бы поглядел на эту кутерьму!
Как черный омут наш представился б ему?
Смех гомерический иль ропот необычный
Вдруг овладели бы душой меланхоличной?
Иль, пожалев наш век и удовлетворяем
Завел бы он себе какую-нибудь связь
И предоставил бы гудеть толпе шумящей,
Как делает пастух, средь ульев мирно спящий?
А может быть и так: с презреньем заодно
Он вылил бы на нас, как старое вино,

Поток парнасских вод, где и зиянья бойки,
Куда потом Буало влил ледяной настойки?
Начни он говорить, от мужественных слов
Шерсть дыбом встала бы у нынешних ослов.
Когда б ему на зуб такая дичь попала,
Вот было б радости для тени Ювенала!
А на поверхности губительных зыбей
Два слова плавали б для избранных людей.
Былая прямота! Отеческая муза!
Где ты, горячая, не знавшая конфуза?
Как задрожал бы свод у дедовских могил,
Когда б ты голосом нас строгим поразил!
Как повалились бы с их выклянченных тронов
Камены, грязные от чуждых им жаргонов,
Перед тобой, поэт, бессмертия черты
Обретший в вольности и в пире красоты!
В каком огне стыда, запрятав шею в плечи,
Заика наших дней твоей внимал бы речи!
Нет, перед галльским ты словцом не пасовал
И, сильных не боясь, ничем не торговал!
Какая рать глупцов, какой кортеж петрушек,
Какой табун ослов со звоном побрякушек,
Паяцы жалкие — какой они толпой,
Тобою вызваны, прошли бы пред тобой!
Как было б радостно, без пут и без личины,
Здесь, в нашем хаосе, среди этой мертвечины,
Узнать твой чудный стих, бегущий напрямиком,
То резвый, то хромой, — но, верно, босиком!
Веселость дивная, когда-то нам родная,
Смех, потрясавший мир от края и до края,
Дух наших прадедов, их полноценный вкус,
Бессмертный здравый смысл — доподлинный

француз —

Цвет нашей родины! О, что же случилось с вами?
Или устал орел парить под облаками?
Иль у очей его способности уж нет
Смотреть на вечный круг, дарующий нам свет?

Такими-то на днях я занят был мечтами.
И чем прилежнее я шевелил мозгами,
Тем понимал ясней, что если б тут он жил,
То не был бы старик ни весел, ни уныл.
«Как? Равнодушен он остался б к нашим бедам,
Он, возмущавшийся испорченным обедом,
От женщин и измен — ответите вы мне —
Впадавший в бешенство младенец в седине?
Взвивался он змеей, всегда боясь ущерба,
Из-за какой-нибудь нелепости Малерба!
Что ж до почтения, так до того дошло,
Что собственной рукой он взбучил Вергело!»
Да, этот человек, по той простой причине,
Что закипало все в его крутой пучине,
Что если за сердце его предмет задел,
Так ненавидеть мог, как и любить умел,
Решил бы, что наш век не стоит даже палок:
Для жалости смешон, для смеха слишком жалок.
Ренье бы предпочел свою мечту о нем...
Умея наблюдать, мы без труда пойдем,
С чего во Франции и воздух ныне душен:
Кто человек ума, тот вовсе равнодушен,
А человек души не нужен никому.
Но, впрочем, проповедь такая ни к чему.
Перед разинями не стоит нам трудиться
И повторять в стихах, что всеми говорится.
Кто ж обольщается? — как выразился плут
У Бомарше: «Кого обманывают тут?»
И мысль высказывать кому теперь охота?
Вспорхнула ласточка, в нее стреляет кто-то,
Бедняжка падает — и вот ее уж нет,
Прохожий разве лишь заметит крови след.
Написанная мысль, поднявшаяся птица!
Каким она путем, каким простором мчится?
И кто ее убьет близ самого гнезда?
Нет, старый Матюрен смолчал бы, господи.

Не о последствиях он думал бы, конечно.
Старик соображал и чувствовал поспешно,
И если уж сказал он то, что разумел,
Ему и журналист перечить бы не смел.
Пусть даже кардинал, сам жадный до богатства,
Мог росчерком пера лишить его аббатства,
Все ж лицемерный причт и раболепный двор,
Когда бы не доход, он почитал за вздор.
Никто бы не спросил в виду его рапиры:
«А вы, вы кто такой, чтоб сочинять сатиры?
И кто вам право дал? Мы знаем, что пока
Вы только шмыгали к Марго из кабака».
Он им ответил бы: «Не то вас беспокоит.
Безумства моего ваш здравый смысл не стоит.
Ну пусть качаюсь я, пусть нализался в лоск,
Душа моя честней и откровенней мозг,
Чем жалостливый вздор, вам надорвавший глотку!»
Он веку назло бы ласкал свою красотку,
А подступись к нему, ответил бы он тем,
Что, усмехнувшись лишь, остался б глух и нем.
Вы, друг мой, видя жизнь и зная это дело,
Вы, чья порядочность и ныне уцелела, —
К вам понесется ряд непринужденных строк,
Причем отделанность была бы им не впрок.
Но вы пеняете, что я молчу годами.
И правда: размышлять наскучило стихами.
И вот, прочтя слова поэта из бродяг,
Что сделал шаг один, зато гигантский шаг,
Вдруг захотелось мне их вам послать по почте.
Моей поэзии забвения не прочтите.
Она всегда жива — и сколько раз лентяй
Богами взыскан был, хотя бы невзначай.
А в заключение, мой друг, питаю веру
(Стих, приблизительно звучащий по Мольеру),
Что, получив ответ на дружеский запрос,
Вы перестанете мне тыкать лирой в нос.

Леконт де Лиль

(1818—1894)

БУКОЛИКИ

I

О светлые ручьи! Здесь, на побережье плоском,
Где волны мчит река на злачный мох лугов,
Цевница прозвучит, как вздох, меж тростников.
Девятиствольную покрыл я свежим воском.
Замолкнет свист цикад и голоса лесов.

II

О ветер, смеющийся под зеленью дубравной.
О пчелы, что с цветов собирают дань свою,
С цевницей звонкою и я для вас пою.
Но Музы ветрены, как Эрос своенравный.
Спешите! Взмахом крыл умчите песнь мою!

I

Все хорошо кругом в тот час, как Тейгеня
Стопой дотронется до мягких трав лесных.
Прохладней в полдень ключ тогда для уст моих,
На полных кувшинах тогда настой жирнее,
А нет ее — и мир безрадостно затих.

II

Хвала богам! Мой дом обилен сыром влажным.
Когда я под скалой лежу, обвит плющом,
И солнце зыблется пылающим лучом,
И движутся стада с мычанием протяжным,
Как мило жить тогда, все хорошо кругом.

I

Как гибелен для вод палящий пламень лета,
Как чахнет дерево в холодной зимней мгле,
Так тот, кто раб любви, с печалью на челе
Пылает жаждою (перед ней бессильна Лета),
Тоскою Эроса, горчайшей на земле.

II

У входа в темный грот, где алая вербена
В тени седых олив раскрыла лепестки,
Клянусь Дианою, молениям вопреки
Черноресницных дев я не изведаль плена.
Вся радость пастуха и честь его — быки.

I

Когда из росных трав к родному небосводу
Направит жаворонок утром свой полет,
Ему не внемлю я, исполненный забот...
Но чтобы жизнь вдохнуть в замолкшую природу,
Пусть голос лишь его над нивой запоет.

II

И жаворонка песнь, и женщин смех певучий,
И щебетанье гнезд на золотых ветвях
Мне слушать радостно при утренних лучах,
Но голос мне милей, влюбленный и могучий,
Трехлетнего быка, мычащего в лугах.

I

Пасись, мой скот! Щипли кустарник под горою,
Где стадо разбрелось неприрученных коз.
А ты их стереги, Лампир, мой добрый пес.
Могила вырыта мне милою рукою,
Как Дафнис, я умру от неутешных слез.

II

О пастырь пастухов! О черных коз хранитель!
Таких напевов ввек не слышали стада.
Эпирским ли ветрам, что веют в холода
На Этну древнюю, зеленой Амфитрите ль
Столь скорбной жалобы не молвить никогда.

I

Вот, друг, моя свирель, чьи звуки нежно пели.
Пусть так же, как меня, ее огонь сожжет.
На ней досель еще благоухает мед.
На скромном алтаре из мха и асфодели
Мой самый черный бык пусть кровь свою прольет.

II

Так. Но горячий луч зовет под сени леса.
Вершин не шевелит дыханье ветерка.
Идем испить кувшин густого молока,
И если все ж тебя влекут поля Гадеса,
То после будет смерть тебе, пастух, легка.

Шарль Бодлер

(1821—1867)

ПРИГЛАШЕНИЕ В ПУТЕШЕСТВИЕ

Милый друг, сестра,
Помечтать пора:
Уехать вдвоем мы сможем,
Привольно любить
И всю жизнь прожить
В краю, на тебя похожем.
Там неверный луч
Из намокших туч
Нежданной тайной трепещет —
Так твои глаза
Помрачит слеза
И вдруг лукавством заблещет.

Там все красота и строй,
Блаженство, роскошь, покой.

Полировки лет
На мебели след
Хранили б наши покои,
Фимиам бы там
К редчайшим цветам
Дыханье лил голубое.
С плафонами зал,
Глубина зеркал,

Великолепье Востока
Вели бы в тиши
Рассказ для души
Родной им речью далекой.

Там все красота и строй,
Блаженство, роскошь, покой.

В каналах вода
Лелеет суда
С их вечным духом скитанья;
Пришли корабли
С окраин земли
Твои выполнять желанья.
Облачил закат
И кирпич палат,
И лес, и каналов сети
В гиацинт и лал,
Весь мир задремал
В горячем вечернем свете.

Там все красота и строй,
Блаженство, роскошь, покой.

СОСРЕДОТОЧЕННОСТЬ

Смирись, о скорбь моя, и ныне будь спокойной.
Ждала ты вечера, он близок, он грядет.
Уж сумрачная мгла легла на город знойный,
Одним неся покой, другим тоску забот.

Как хлынут смертные толпою непристойной,
Лишь Сладострастие над ними бич внесет,
Искать раскаяний на праздник недостойный,
Дай руку, скорбь моя, оставим праздник тот,

Уйдем... Склоняются скончавшиеся годы
На поручни небес в одеждах давней моды,
И Сожаление встает из глуби вод;

Под аркой солнца круг лежит, изнемогая,
И длинным саваном, окутавшим восход, —
Ты внемлешь, милая? — подходит ночь благая.

Поль Верлен

(1844—1896)

ЛУННЫЙ СВЕТ

У вас душа ночное травести
В изящном парке, где гуляют маски,
Бренчат на лютнях и поют, почти
Печальные в их маскарадной пляске.

Поют успех любовный, но, ему
Усердствуя своим минором струнным,
Как бы не верят счастью своему,
И песня их слилась со светом лунным.

С тем дивным светом, коим мир залит,
С которым замолкает хор пернатый
И, в забыты, фонтаны бьют навзрыд,
Упругие фонтаны между статуй.

GREEN

И фрукты, и цветы с листвою и с ветвями,
И сердце верное, что бьется лишь для вас, —
Его не рвите вы прекрасными руками,
Вот мой смиренный дар для ваших чудных глаз.

Смотрите, весь покрыт я утренней росой,
Студеные ручьи с висков моих текут.
Я здесь у ваших ног усталость успокою
И поблаженствую хоть несколько минут.

На молодую грудь позвольте мне скатиться
Всей нежностью от ласк звенящей головы,
От вихря доброго мне дайте отрезвиться,
И я посплю еще, коль дремлете и вы.

Франсис Жамм

(1868—1938)

СТОЛОВАЯ

Шкап, и на нем полировки остаток.
Слышал он голос моих прабабок,
Слышал он голос моего деда
И голос отца, за дедом следом.
Вспоминанья он крепко хранит.
Он, думают, нем, оттого и молчит,
Но я веду с ним беседы.
Там же с кукушкой часы — не пойму,
В толк не возьму, молчат почему?
Все же не стану спрашивать их,
Быть может, что-то сломалось в них
И попросту замер голос пружины,
Как человеческий в миг кончины.
Там есть еще старинный буфет,
В нем пахнет воском, вялыми гроздьями,
Мясом, хлебом, грушами поздними.
Он верный слуга, тревоги с ним нет,
И сам он знает, что красть не след.
Приходит немало мужчин и дам,
Глухих к этим малым живым вещам;
Смешно, что во мне лишь видна им душа.
Когда произносят, войдя не спеша:
«Как поживаете, милейший Жамм?»

НА ЭТИХ ДНЯХ НАЧНЕТСЯ СНЕГ

На этих днях начнется снег. И прошлый год
Мне снова вспоминается с его грустями
Забытыми. И если спросит кто: что с вами? —
Скажу: побыть мне дайте одному. Пройдет...

Подолгу размышлял я в том же доме старом,
А грузный снег на ветви падал за окном.
И, как тогда, я тоже думал ни о чем,
Раскуривая трубку с мундштуком янтарным.

Все так же славно пахнет мой резной буфет.
И я был дурнем, полагая, что приметы
Не изменяются и что сменять предметы
Пустая блажь, ненужная, и смысла нет.

Все размышляем, все толкуем — не смешно ли?
А слезы, поцелуи — все молчком, ни звука,
А нам понятны. Так шаги соседа-друга
Мне слаще всяких слов, подслащенных тем боле.

Крестили звезды, не подумав, что для них
Имен не нужно, и красавица комета,
Которой сроки учтены с начала света,
Не засияет в небесах от слов твоих.

И где же он, мой прошлый год с его грустями
Давнишними? Почти совсем забытый год.
Я говорю: побыть хочу один, пройдет...
Коли захочет кто-нибудь спросить: что с вами?

Поль Валери

(1871—1945)

МОРСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Спокойный кров, где бродят сизокрылы, —
Трепещет он сквозь сосны, сквозь могилы;
Сливает полдень, в точности часов,
Из блестков — море, море в вечной смене!
Вознагражденность после размышлений —
Что долгий взгляд на тишину богов!

Как тонких молний труд неуловимый
Алмазы тлит на пене еле зримой!
Какой покой собою зарожден!
Едва возляжет солнце на пучины —
Чистейшие дела-первопричины, —
Сверкает время, стал познанем сон.

Надежный клад, простой алтарь Минервы,
Толщ тишины, ее избыток первый,
Поток струистый, Око, столько снов
Хранящее в тебе под дымкой зноя,
О тишина! Строенье золотое
В душе, с несчетной черепицей. Кров!

Храм Времени, и он же вздох единый;
Взошел и свыкся с мирной я стремниной,
Весь взором окружен своим морским;

И от меня богам последним даром —
Предел высот сверкающим пожаром,
Властительным презрением кропим.

Как тает плод, испытывая радость,
Как небытье он обращает в сладость
В устах, где форма внешняя умрет, —
Вдыхаю дым свой предопределенный,
И высь поет душе испепеленной,
Как зыблемы прибрежья шумных вод.

Взгляни, о небо, — вот я, переменный!
От гордости, от необыкновенной
Той праздности, что силами полна,
Я предаю себя блестящей шири,
Тень от меня проходит в мертвом мире,
И приручает к зыбкости она.

Открыт душой в палящее безлюдье,
Хвалю тебя, благое правосудье
Огня небес, с оружием без пощад!
Вернись же, свет, туда, где был когда-то,
Смотри в себя! — Но там уже утрата,
И тень встает, где светлости возврат.

О, только мне, во мне, не там, где все мы
В сердечной тьме, у родников поэмы,
Меж пустотой и чистой явью дня,
Жду, глубь моя, ты отзовешься верно,
Горчайшая и гулкая цистерна,
Всегда зияньем будущим звеня!

Ты знаешь ли, лжепленик этой рощи,
Залив несытый, за решеткой тощей
Слепящих тайн, закрытых век моих,

Какая плоть к концу влачит лениво
И клонит лоб до почвы сиротливой?
Моих ушедших искра помнит в них.

Священный, замкнутый, в огне бесплотном,
Кусок земли под этим светом плотным,
Где факелы господствуют, мне мил —
Из камня, золота, деревьев темных,
Где столько мраморов и дрожей дремных,
Где море спит над тенями могил.

О псица! Ты язычника не слушай!
Когда один, с улыбкою пастушьею,
Таинственных овец, чей бел убор,
Могил стада пасу я бестревожных —
О, удали голубок осторожных,
Пустые сны и ангелов дозор!

Придешь — и станет будущее ленью;
Цикада засуху скребет под тенью,
Все выжжено, разъято, тишь всплыла,
Каким-то ввысь составом строгим рея...
Просторна жизнь, небытием пьянея,
И горечь сладостна, и мысль светла.

Земля покоя мертвых не нарушит,
Но греет их, она их тайну сушит.
А полдень — там, а полдень сам себе
На радость, он собою занят немо...
Лоб тяжкий, избранная диадема,
Я — тайная изменчивость в тебе.

Во мне одном твои все опасенья!
Раскаянья мои, тоска, сомненья
Одни щербят огромный твой алмаз!..
Но в их ночи, сквозь мраморное бремя,

В корнях дерев зашевелилось племя,
Медлительно приветствуя твой час.

Взрастили их небытия глубины,
Ткань белую впитал багрянец глины,
И жизни дар уж передан цветам!
У мертвецов где милых слов привычность,
Их личный дар, их душ своеобразность?
Сочится гной, где должно течь слезам.

Визг защекоченной отроковицы,
Глаза, уста, и влажные ресницы,
И пламени играющая грудь,
У губ сверканье крови в миг сближенья,
Последний дар и пальцев противленья —
Все, все земле должно себя вернуть!

Но ты, душа, иль чаешь снов грядущих,
В которых нет вот этих красок лгущих,
От золота и вод, для зрячих тел?
Петь будешь ли, как обратишься паром?
Нет! Все — бежит! Я призрачен недаром,
Святому нетерпенью есть предел!

Костлявое бессмертье — чернь и злато —
Целитель наш, венчанная утрата,
Где смерть — что лоно материнских нег,
В красотах ложь и хитрость в благочестьях!
Кто не отверг, что может перенести и х , —
Те черепа с улыбками навек!

Вы, праотцы, голов пустые чаши,
Теперь шаги смущающие наши,
Под грудой праха, сами став з е м л е й , —
Червь подлинный, глодатель безочитый,
Он не для вас, почиющих под плитой,
Он живмя жив, неразлучим со мной!

Любовь ко мне иль ненависть, быть может?
Но зуб его меня так яро гложет,
Что все ему подходят имена!
Так! Видит он, желает, грезит, емлет!
Он любит плоть мою, он с плотью дремлет —
Живому жизнь принадлежать должна!

Зенон! Зенон! Жестокий сын Элеи!
Крылом стрелы меня пронзил ты злее,
Она дрожит, летя, и не летит!
Я звуком порожден, сражен стрелою!
Ах! Свет!.. Тень черепахи пред душою —
Моим Ахиллом медленным — лежит!

Нет, нет!.. Вперед! В назначенную эру!
Разбей, о плоть, задумчивую меру!
Испей, о грудь, рождение ветров!
Вздых свежести сквозь воздух накаленный
Вернул мне душу. О простор соленый!
Бегу к волне и вынырну — здоров!

Так! Море, бред, таимый и пространный,
Пантеры шкура и хитон, изданный
Подобьем солнц, их сонмами в огне,
О Гидра, пьян твоим лазурным телом,
Кусаящим свой хвост в сиянье белом,
В смятении, подобном тишине,

Встает порыв!.. Отдаться надо мигу!
Огромный вихрь из рук моих рвет книгу,
От скал летит дробленая роса!
Неситесь же, слепимые страницы!
Восторги вод! Прорвите черепицы —
Спокойный кров, где рыщут паруса!

ПАЛЬМА

Грозной нежностью сверкая,
Преодо мной полутайком
Ангел ставит, подавая,
Хлебы с плоским молоком.
Тихо взглядывает, веком
Поводя в моленье неком,
На видение мое:
— Ты, спокойный, будь спокойный:
Груз познай ты пальмы стройной
С изобилием ее!

Ежели она погнется
Под роскошеством щедрот,
Этим образ создается
И связует тяжкий плод.
Полюбуйся, как по зною
Медленной дрожит струною,
Миги времени деля;
Ею сравнены без тайны
Небосвода груз бескрайный,
Тяготящая земля!

Совершая без усилий
Суд меж тенью и лучом,
Уподобилась сивилле
Разумением и сном.
Вкруг единого предела
Слушать ей не надоело
То прощание, то зов...
Как умильна! Как пристойна!
Как единственно достойна
Прикасания богов!

Легким золотом лепечет,
Вторя дневному персту,
На душу пустыни мечет
Шелком брони тяготу.
Этот воздух нескончанный
В воздух шлет она песчаный,
Ветрами занесена;
Самому себе оракул,
То поет он, что оплакал, —
Чудом счастлива она.

И пока себя не чаёт
Меж наносов и высот,
Каждый день обозначает
В ней помалу новый сот.
Измеряет накопленье
То божественное дленье,
Что не знает счета дней,
Но, напротив, их скрывает
В сок, который прибывает
Благовоньями любвей.

Коль себя подчас печалишь,
Если дивный этот взлет,
Хоть и плачешь ты, едва лишь
Тень уныния кладет, —
Сердце пусть не обессудит
Мудрую, в которой будет
Столько золота и прав,
Чьи торжественные соки
Упований поят токи,
Их до зрелости подняв!

Дни как будто безотрадны
И для мира ни к чему,
А меж тем их корень жадный
Роет почвенную тьму.
Прорастет состав косматый
Сквозь песок нетороватый
Неустанно, до глубин
И, в земных прорывшись недрах,
Обретет источник щедрых
Вод, потребных для вершин.

Ожиданье, ожиданье,
Ожиданье в голубом!
В каждом атоме молчанья —
Обещанье стать плодом!
Радости придет мгновенье:
Голубь, или дуновенье,
Содрогнется ль тихо столп,
Женщинали прислонится,—
Дождь уже к ногам струится
На колени павших толп!

Пусть же громоздятся люди,
Пальма, пальма!.. Без узды!
Пусть хватают в пыльной груди
Поднебесные плоды!
Ты не тратила мгновений,
От блаженных тех забвений
Ты легка и хороша;
Ты подобна тем, кто мыслит
И дарам прибыток числит
Тем, как тратится душа!

Из бельгийской поэзии

Эмиль Верхарн

(1855—1916)

МАРИНА I

В дни холодов сырых, пронзительных ветров
На волны светлые ложился мглы покров;
Меж грязной зелени, по пашням и дорогам,
Влачился паводок огромным осьминогом.

Тростник сухой свисал оборками. Стеснен
Стенами темноты, гремел со всех сторон
Иль Зюйд, иль Норд, всю ночь гудели глухо дали.
Белесым отсветом во тьме снега мерцали.

Но лишь мороз — ряды чудовищные льда
Сползали — шумные, обширные стада, —
Толкаясь и давясь, как сбившиеся горы.

В часы, когда в лесу и в поле был покой,
Они со скрежетом шли друг на друга в бой,
Громовым грохотом тревожа сел просторы.

МАРИНА III

Река была полна снастями, парусами,
А небо на нее всем весом налегло
И почву жарило кругом и жгло лучами,
Как будто подобрал под знойное крыло.

А около плотин кипели ил и тина,
Иглой сверкал тростник от солнечной игры,
И судна трескалась смоленая махина,
Томясь под бременем расплавленной жары.

А в узком месте, там, где волны вдруг немели,
Из вод песчаные выпячивались мели
И белым стаи птиц пятнали их пером.

Поселок весь пылал, как в воздухе горнила,
Грозившего ему медлительным огнем,
И уголья волна горящие влачила.

Из итальянской поэзии

Луиджи Пульчи

(1432—1484)

БОЛЬШОЙ МОРГАНТ

(Отрывок)

Х

«Другой еды запросишь поневоле:
Мы к доброму столу привыкли, дядя!
Не видишь, ростом он каков тем боле?
Червя не заморишь, с крупинкой сладя». —
Хозяин им: «Дать желудей вам, что ли?
Чего я вам добуду на ночь глядя?»
И начал изъясняться горделиво,
Так что Моргант сидел нетерпеливо.

Он колокольным языком ударил
Его разок-другой. Тот в крик — не шутка!
Маргутт же молвил: «Надо, чтоб обшарил
Я сам весь этот дом — одна минутка...
Ты б нам, хозяин, буйвола зажарил,
Во двор, я вижу, входит он. А ну-тка
Раздуй очаг; едва моргнет, ты слушай.
Ну, угощай нас буйволиной тушей».

Тот в страхе вздул огонь, боясь ответа.
Маргутт схватил одну из перекладин.
Хозяин заворчал. Маргутт на это:
«А вижу я, ты до побоев жаден.
Что ж класть в огонь для этого предмета?

Не ручку ж от лопаты? То-то складен!
Позволь уж мне распорядиться пиром». —
На этом буйвол был изжарен с миром.

Не думайте, что зверя свежевали:
Он брюхо лишь вспорол у туши дюжей.
Как будто в доме все его уж знали —
Приказывал, кричал, серчал к тому же.
Вот доску длинную нашел он в зале
И приспособил вмиг ее снаружи.
Стол мясом загрузил, вином и хлебом:
Моргант мог уместиться лишь под небом.

Был буйвол съеден весь на этом пире,
Вин выпита немалая толика,
Исчез весь хлеб — четверика четыре,
Маргутт позвал хозяина. «Скажи-ка,
Подумал ты о фруктах и о сыре?
Ведь это скушать — дело невелико.
Все волокни, что спрятано по дырам!»
Послушайте ж, как было дело с сыром.

Хозяин отыскал круг сыра где-то,
Примерно форму шестифунтовую;
Да яблок вынес, благо было лето,
Корзиночку, и то полупустую.
Маргутт, как только оглядел все это,
Сказал: «Видали бестию такую?
Язык взять колокольный вновь придется,
Коль иначе обеда не найдется.

Пить по глоточкам при его ли росте?
Пока я возвращусь, ты без обману
Кати нам бочки, раз пришли мы в гости, —
Чтобы вина достало великану,
Иль он тебе пересчитает кости!

Я, как мышонок, всюду шарить стану,
И, если что найду про нашу долю,
Увидишь, принесу ль припасов вволю!»

Тут начал рыскать по дому повсюду
Маргутт, все сундуки в дому калечит,
Бьет и ломает утварь всю, посуду —
Что ни разыщет, то и изувечит;
Последнюю кастрюлю валит в груды;
И сыр и фрукты — все наружу мечет.
Морганту приволок мешок громадный.
Все исчезает снова в глотке жадной.

Хозяин, слуги — все дрожат до пота,
Хоть и усердствуют служить прилично.
Хозяин тут подумал: неохота
Молодчиков таких кормить вторично.
Заплатят нам, когда дойдет до счета,
Своим пестом — бери деньгой наличной.
Л съели столько, что за месяц времени
Не проглотить и целому бы племени.

Моргант, когда наелись, и помногу,
Хозяину сказал: «Пойти проспать!
А завтра, как обычно, в путь-дорогу
Отправимся — так надо сосчитаться.
Не обочтем тебя, оставь тревогу,
Сумеем все довольными остаться».
Хозяин же возьми да и ответь им,
Что эту ночь сочтет — тысячулетьем.

Маттео Боярдо

(1441—1494)

ВЛЮБЛЕННЫЙ РОЛАНД

(Отрывок)

XXIX

Роланд и Агрикан вступили снова
В жестокий бой по воле нежной страсти.
Не видел мир побоища такого!
Бойцы друг друга резали на части.
Зрит Агрикан, что рать его готова
Рассеяться, уж нет над нею власти.
Роланд же перед ним стоит так близко,
Что избегать единоборства низко.

И сразу мысль в мозгу его созрела:
Завлечь Роланда в лес и, где их двое
Останется, убить его и смело
Вернуться в тот же час на поле боя.
«Тех трусов разгромить — пустое дело
И одному!» Еще не знал героя
Сам Галафрон, и все в поганой рати
Прыщом его считали — да некстати.

И замысел исполнен. Агрикана
Конь во весь дух уносит по равнине...
Роланд не понял хитрости: обмана
Подозревать не мог он в паладине.
За беглецом он устремился рьяно —

И вот они в лесу. Посередине
Всегда тенистой луговины злачной
По мураве струится ключ прозрачный.

Здесь Агрикан и спешился, желая
Сам отдохнуть и сил коню прибавить.
Сел на траву, но, шлема не снимая,
Меч при себе и щит решил оставить.
Тут и Роланд, минуты не теряя,
К тому ключу успел коня доправить
И, видя Агрикана, крикнул зычно:
«Ну и храбрец! Как убежал отлично!

Терпеть позор ужели рыцарь станет,
Сопернику ужель покажет спину?
Бежать от смерти? Труса смерть обманет,
Кто честно жил, как дар прими кончину.
Отважного она не больно ранит,
Легко придет он к вечному притину,
А кто за жалкий век свой кровью платит,
Тот с жизнью заодно и честь утратит».

Царь на коня вскочил без промедленья
И так ответил, повода не тронув,
Учтивой речью, полной умиленья:
«Не видывал подобных я баронов!
За вежество и храбрость ты спасенья
Достоин. Нет среди людей законов
Превыше чести: ты в разгаре боя
Нам показал бесстрашие героя.

Тебе я жизнь оставлю. Но покорно
Прошу мне не мешать. Дозволь признаться:
Я, чтоб тебя спасти, бежал притворно,
Иначе я не мог за дело взяться.
Но если драться будем мы повторно,

Ты здесь не должен с жизнью распрощаться.
О солнце и луна! Удостоверьте,
Что вовсе не ищу твоей я смерти».

Ответствовал Роланд добросердечно,
Уже невольной жалостью смущенный.
«Ты рыцарствуешь, — молвил, — безупречно.
Сразимся... Но страшусь, что некрещеный
Ты здесь умрешь и попадешь навечно
В сонм окаянных, мукам обреченный.
Хочу, чтоб спас и душу ты, и тело.
Крестись — и уходи на волю смело».

Тот отвечал, в Роланда взор вперяя:
«Коль ты храбрец, христианин, тем паче
Ты сам Роланд — на все услады рая
Не променяю нынешней удачи.
Но говорю, тебя предупреждая:
О вере спор не затевай — иначе
Пустое словопренье мы устроим;
Пусть каждый веру защищает боем».

И смолкли. Царь извлек свою Траншеру
И на Роланда бешено стремится.
Теперь меж ними бой идет за веру —
Пред их отвагой солнца луч затмится!
Секут и рубят, распалясь не в меру,
Грудь с грудью, как искусство учит биться;
С полудня и до полночи глубокой
Меж храбрецами длится бой жестокий.

Меж тем уж солнце скрылось за горою
И вызвездило небо; ночь спадала.
Тут граф сказал: «Нельзя ночной порою
Бой продолжать». Не думая нимало,

Так Агрикан ответил: «Нам с тобою
Здесь на траве прилечь бы не мешало.
А завтра утром, с первыми лучами,
Мы можем вновь заговорить мечами».

Решили вмиг. Ослабив узденицы
Своим коням, их в роще привязали
И на траву легли, испив водицы,
Как будто бы вражды и не знавали.
Роланд разлегся ближе, у криницы,
А Агрикан устроился подале,
Но в той же самой роще, под одною
Огромною развесистой сосною.

Шел разговор меж ними величавый
О том, что их достойно обсужденья.
И, глядя в небосвод, сиявший славой,
Промолвил граф: «Предивное творенье!
Все создано Единого державой,
И дня восход, и ночи нисхождение,
Сребро луны и звезд несчетных злато —
Всем род людской бог наградил богато».

Ответил Агрикан: «Я разумею,
Что хочешь ты беседовать о вере.
Но никаких я знаний не имею,
Сызмальства убежал от школьной двери.
А после череп проломил злодею
Учителю — но возместить потерю
Уже не мог, меня, как грех случился,
Боялись все, и я уж не учился.

Я с детства не знавал иных занятий,
Как зверя бить, владеть мечом умело.
Над буквами корпеть с какой же стати?
Читать и думать — рыцарское ль дело?

По-моему, должны мы и в дитяти
Лишь ловкость упражнять и силу тела.
Наука — для ученых и священства.
Важней в другом достигнуть совершенства».

«Да, рыцаря первейшее призванье —
Оружие; мы думаем согласно.
Но человека украшает знание:
Поляна без цветов не так прекрасна.
Тот вол, кремень, бездушное создание,
Кто о Творце не мыслит ежечасно.
Но без науки мыслить мы не можем
О высшей мощи, о величье божьем».

А Агрикан ответил: «Неприлично
При очевидном перевесе биться:
Тебе открылся я и самолично
В учености твоей мог убедиться.
Ты говори — мне и молчать привычно,
Иль спи, коль есть охота, сколько спится.
Так начинай, но только по словью,
Пленяй меня лишь кровью и любовью.

Прошу тебя, как человека чести,
Скажи — я жду правдивого ответа:
Ты ль тот Роланд, которого без лести
Высоко чтут во всех пределах света?
Как ты пришел? Зачем ты в этом месте?
Влюблен ли так же, как в былые лета?
Ведь рыцарь без любовного порыва
Лишь с виду жив, но сердце в нем не живо».

Ответил граф: «Я тот Роланд, которым
Убит Альмонт с Трояном — было дело.
Весь мир презреть я вынужден Амором —
Он вел меня до чуждого предела.

Раз занялись мы длинным разговором,
Признаюсь, что душой моей всецело
Владеет ныне дочка Галафрона,
Живущего в Альбракке без урона.

С ее отцом воюешь, хочешь кровью
Залить поля и замутить криницы.
А я сюда был приведен любовью.
Единственно во славу той девицы,
По верности, по чести и условию
Я много раз касался узденицы;
Чтоб путь завоевать к прекрасной даме,
Я бьюсь — иными не пленен мечтами».

Лишь Агрикан из речи убедился,
Что то Роланд, в Анджелику влюбленный,
В лице превыше меры изменился,
Но скрыл волнение, ночью защищенный.
Душой, умом и сердцем распалился,
Стонал и плакал, как умалишенный, —
Удары сердца так в груди стучали,
Что чуть не умер он в своей печали.

Потом сказал Роланду: «Сам с собою
Поразмышляй, едва лишь солнце глянет,
Мы выйдем в поле и приступим к бою,
И кто-нибудь из нас уже не встанет.
Так обращаюсь с просьбою одною:
Чтоб раньше, нежели этот суд настанет,
Желанную души своей царицу
Ты бы отверг и отдал мне девицу.

Не потерплю я, жизнь доколе длится,
Чтобы другой любил тот лик прелестный.
На утре дня один из нас лишится
Души своей и дамы в битве честной.

И кроме ручейка, что здесь струится,
О том узнает только лес окрестный,
Что ты отверг ее в таком-то месте,
В такой-то срок — недолог он, по чести».

Роланд ответил: «Не сдержать обета
Мне не случилось, если обещаю.
Но если я пообещаю это,
Хоть клятвенно, — не выполню, я знаю.
Глаза свои скорей лишу я света,
Сам собственное тело искромсаю —
Без сердца и души мне легче влечься,
Чем от любви к Анжелике отречься».

Царь Агрикан, пылавший свыше мочи,
Не потерпел такого возраженья
И, хоть была лишь середина ночи,
Сел на Баярда и в вооруженье,
Уверенно и гордо вскинул очи.
И, вызывая графа на сраженье,
Воскликнул: «Рыцарь, о желанной даме
Теперь забудь иль ратоборствуй с нами!»

Уже и граф схватил арчак рукою,
Лишь прянул царь, врага сразить взыскаю;
Быть преданным языческой душою
Боялся он и, на коне гарцуя,
Отважной речью отвечал такую:
«Ее никак отвергнуть не могу я,
И если б мог, все ж не отверг бы милой,
А ты ее получишь — за могилой».

Как в море вихрь вдруг зашумит жестоко —
Два рыцаря напали друг на друга,
На травяном лугу, в ночи глубокой.

Пришпорили коней, зажали туго;
Врага при свете лунном ищет око,
Безжалостны удары архалуга,
Затем что каждый — доблестный боец...
Но замолкаю: песни здесь конец.

Анджело Полицано

(1454—1494)

СКАЗАНИЕ ОБ ОРФЕЕ

(Отрывок)

П а с т у х

(возвещает Орфею о смерти Евридики)

Жестокой вестью встречу я Орфея,
Что нимфа та прекрасная скончалась.
Она бежала прочь от Аристея,
И в миг, когда к потоку приближалась,
В пяди впились ей жалом, не жалея,
Змея, которая в цветах скрывалась.
И сильно так и остро было жало,
Что сразу жизнь и бег ее прервало.

О р ф е й

(сокрушается о смерти Евридики)

О безутешная, заплачем, лира!
Иную песнь теперь нам петь приспело.
Кружитесь, небеса, вокруг оси мира,
Услышав нас, замолкни, Филомела!
О небо! О земля! Ужели сирот
В тоске влачить измученное тело?
Краса моя, о жизнь, о Евридика,
Как жить мне, твоего не видя лика?
К воротам Тартара моя дорога:
Узнать, туда проникло ль сожаленье?
Судьбу смягчат ли у его порога
И слезные стихи, и струн моленья?

Быть может, смерть преклонит слух не строго.
Ведь пенем я уже сдвигал каменья.
Олень и тигр, внимая мне, сближались,
И шли леса, и реки обращались.

О р ф е й

(с пением подходит к Аиду)

Увы! Увы! О, пожалейте в горе
Любовника, юдолей адских тени!
Вождя единого я зрел в Аморе,
И он меня домчал до сих селений.
О Цербер, укроти свой гнев! Ты вскоре
Мои услышишь жалобы и пени,
И не один, услышав, надо мною
Заплачешь ты — но с адскою толпою.

О Фурии, напрасно вы рычали,
Напрасно змеи корчились лихие.
Когда б вы знали все мои печали,
Вы разделили б жалобы глухие.
Несчастливого задержите ль вначале,
Кому враги и небо, и стихии?
Иду просить я милости у смерти.
Откройте двери. Страннику поверьте.

П л у т о н

(полный удивленья, говорит так)

Откуда звук столь сладостного звона?
Кто ад смутил кифарой изощренной?
Вот: колесо недвижно Иксиона,
Сизиф сидит, на камень свой склоненный,
И к Танталу не льнут струи затона,
Белиды стали с урною бездонной,
Внимателен и Цербер трехголовый,
И Фурии смягчили гнев суровый.

Минос (к Плутому)

Тот, кто идет, противен воле Рока:
Не место здесь телам, не знавшим тленья.
Быть может, умысел тая глубоко,
Твоей он власти ищет низверженья.
Все, кто сюда, Плутон, входил до срока,
Как этот, — в темные твои владенья,
Встречали здесь возмездье роковое.
Будь осторожен: он замыслил злое.

Орфей

(коленипреклоненный, говорит)

О всемогущий тех краев властитель,
Что лишены навек земного света,
Куда спускается вселенной житель
И все, что солнцем на земле согрето, —
Сказать тоски причину разрешите ль?
Вослед Амору шла дорога эта
Не цепью Цербера вязать железной —
Я только шел вослед своей любезной.

Змея, рожденная между цветами,
Меня и милой, и души лишила.
Я дни влачу, подавленный скорбями,
Сразить тоску моя не может сила.
Но коль любви прославленной меж вами
Воспомяненье время не затмило,
Коль прежний жар еще в душе храните —
Мне Евридику милую верните!

Пред вами вещи разнствуют в немногом,
И в ваш предел все смертные стекутся,
Все, что луна своим обходит рогом,
Предметы все во мрак ваш повлекутся.

Кто доле ходит по земным дорогам,
Кто менее — но все сюда сойдутся,
В предел последний жизни быстротечной, —
И нами впредь владычествуйте вечно.

Так будет нимфа пусть моя меж вами,
Когда ей смерть сама пошлет природа.
Иль сочный грозд под нежными листьями
Обрежет серп жестокий садовода?
О, кто поля усеет семенами
И ждать не станет позднего их всхода?
С души моей тоски сложите бремя.
О, возвращенье будет лишь на время!

Во имя вод, которыми покрылось
Стигийское болото Ахеронта,
И хаоса, откуда все родилось,
И бурности звенящей Флегетонта,
И яблока, которым ты пленилась,
Как нашего лишилась горизонта!
Коль мне откажешь ты, к земной отчизне
Не возвращусь я, здесь лишусь я жизни.

Прозерпина

(Плутону говорит так)

О сладостный супруг мой, я не знала,
Что жалость проникает к сей равнине.
Но вот наш двор она завоевала,
Мое лишь ею сердце полно ныне.
Со страждущими вместе застонала
И Смерть сама о горестной кончине.
Изменят пусть суровые законы
Любовь, и песнь, и праведные стоны.

Плутон

(отвечает Орфею и говорит так)

Тебе верну ее, но по условию
Вослед тебе выходит пусть из Ада.
А ты до выхода, горя любовью,
Не обращай на Евридику взгляда.
Итак, Орфей, предайся хладнокровью,
Чтоб не исчезла вновь твоя награда, —
Все ж счастлив я, что сладостная лира
Смягчила скиптр отверженного мира.

* *
*

Раз утром, девушки, я шла, гуляя,
Роскошным садом, в середине мая.
Фиалок, лилий много на полянах
Цвело, да и других цветов немало,
Лазурных, бледных, снежных и багряных.
Я, руку протянув, срывать их стала.
Для золотых волос убор сплетала —
Прядь вольную сдержать венком желая.

Раз утром, девушки, я шла, гуляя,
Роскошным садом, в середине мая.
Уже успела много их нарвать я,
Но увидала разных роз собранье
И побежала к ним — наполнить платье.
Так сладко было их благоуханье,
Что в сердце вкралось новое желанье,
Страсть нежная и радость неземная.

Раз утром, девушки, я шла, гуляя,
Роскошным садом, в середине мая.

Разобрала их все поодиночке —
Не скажешь словом, как прекрасны были:
Те вылупились только что из почки,
Те блекли, те цветы едва раскрыли.
Амор сказал: срывай их в полной силе,
Пока еще не сникли, увядая.

Раз утром, девушки, я шла, гуляя,
Роскошным садом, в середине мая.
Едва лишь роза лепестки раскроет,
Пока она прекрасна и приятна,
Ее ввивать нам в плетеницы стоит —
Не то краса исчезнет безвозвратно.
Так, девушки: доколе ароматна,
Прекрасную срывайте розу мая.

Раз утром, девушки, я шла, гуляя,
Роскошным садом, в середине мая.

Микеланджело Буонарроти

(1475—1564)

ДАНТЕ АЛИГЬЕРИ

Мне восхвалять его не должно боле —
Он блещет ярко в сфере, где светила.
Клясть надо тот народ, чья злая сила
Гнала его еще в земной юдоли.

Он в мир греха сходил по высшей воле,
Вновь с Богом был — и всё нас умудрило.
Врата и небо перед ним открыло,
А родина замкнула — верх недоли!

Неблагодарная! его судьбины
Себе в ущерб кормилица! Коль скоро
Всегда худое лучшим доставалось,

Пригоден нам и сей пример единый:
Он изгнан был, и хуже нет позора,
А равных с ним от века не рождалось.

Томмазо Кампанелла

(1568—1639)

I

ВСТУПЛЕНИЕ

От Разума рожденный и Софии,
Добра, красоты и правды верный щит,
Смотря, как мир сует себе вредит,
Я к матери взываю не впервые.

Верна супругу, мне дары благие
Льет щедрая — и я во всем разлит,
Мне — знатоку и мастеру — открыт
И новый век, и времена былые.

Обширный мир с родимым домом схож,
Бегите ложных школ, чей дух напыщен, —
В весах и мерах истину найдешь.

Поступок словом будет предвосхищен —
Расплавьте ж спесь, невежество и ложь
В огне, что мной у Солнца был похищен.

VI

ДУХ БЕССМЕРТНЫЙ

Я в горстке мозга весь — а пожираю
Так много книг, что мир их не вместит.
Мне не насытить алчный аппетит —
Я с голоду все время умираю.

Я — Аристарх и Метродор — вбираю
В себя огромный мир — а все не сыт.
Меня желанье вечное томит:
Чем больше познаю, тем меньше знаю.

Так, образ я бессмертного отца,
Что нас, как рыбу море, окружает,
Что разумом возлюблен мудреца,

Что силлогизмом, как стрелой, пронзает,
Свободна мысль. Тех радостны сердца,
Кто, вбожествясь, божественность впитает.

Джозуэ Кардуччи

(1835—1907)

Из книги «Варварские оды»

ВСТУПЛЕНИЕ

Ваша мне поэзия ненавистна:
дряблым телом служит покорно черни
и без дрожи в грубых руках привычно
спит, растянувшись.

А моя строфа отдается в душах
плеском рук и топотом стоп ритмичным.
Я строфу ловлю на лету, строфа же
сдаться не хочет!

Так сжимает нимфу сильван влюбленный
на Эдоне снежном, она же рвется,
и прекрасней пыл ее груди пышной
в тесном объятье.

Поцелуи уст распаленных, крики —
все смешалось. Мраморный лоб сверкает,
ярко блещет. Волны волос привольным
треплются ветром.

У ТЕРМ КАРАКАЛЛЫ

Мрачно мчатся чрез Авентин и Целий
тучи. Влажный веет с равнины грустной
ветер. Там — альбанские встали горы,
белы от снега.

Над соломкой пепельной вуалетку
приподняв зеленую, англичанка
в книге ищет спора времен и неба
с камнями Рима.

Стаей черной, не прекращая каркать,
носятся вороны, плывут как будто
вдоль двух стен, что вызовом неким грозным
встали, огромны.

«Великаны древние, — мнится, ропщут
злых вещуний стая, — что спорить с небом?»
Величаво от Латерана льется
звон колокольный.

Вот бежит бездельник, плащом укутан,
важно в ус свистит и не смотрит даже...
О, тебя зову, Малярия, ныне
ты здесь богиня!

Если смогут тронуть тебя прекрасных
слезы глаз, мольба матерей, простерших
руки над толпою детей склоненных,
ежели может

тронуть древний на Палатине славном
тот алтарь (не так же ли холм Эвандров
Тибр лизал, когда ввечеру, блуждая
по Авентину

иль по Капитолию, возвращенный,
любовался градом квирит квадратным
в ласке солнца и бормотал тихонько
гимн сатурнийский!),

Малярня, слушай: гони отсюда
новых пришлецов с суетой их мелкой!
Этот ужас благочестив: почила
Рома-богиня,

головую — на Палатине гордом,
бросив руки на Авентин и Целий,
от Капены к Аппиевой дороге
плечи простерла.

Коррадо Говони

(1884—1965)

Из книги «Отчий дом»

* *
*

О мой дом деревенский древний,
Без трубы водосточной, с кровлей понурой,
По которой катится дождь белокурый!
Тихие голуби из мякоти хлебной!
В черной кухне (нижние окна)
Ржавые часы деревянные
С пучком маков засохших на карнизе,
С медными гирями, песком набитыми,
Шли и кружились, не переставая,
С сухим своим звуком,
Как звук костылей у безногих
На каменных плитах (о, сколько нищих
Каждый день приходило за подаяньем!
Беспреданное шло бормотанье
Молитв под окнами
Станных, без всякого смысла;
О, должно быть, значенья много
Имеют для господа бога
Эти перевранные молитвы бедных!
Бывали старухи, почти беззубые,
С удивительными лицами безобидных
Толдуний, обуты в мужские башмаки без шнурков,
Тащили огромные соломенные корзины,

Казались они одеты
В зонтики — без спиц и в лохмотьях.
Старики бывали босые,
С огромными ногами, торчавшими
Из-под плащей солдатских,
Которые им очень не шли или шли чрезвычайно,
С пуговицами, круглыми и блестящими;
Кое-кто был и в берете
С перышком красным
(Разные ступени голода!),
Была у иного и мягкая шляпа,
Быть может подаренная ему недавно
И такая грустная
Оттого, что была почти новой!
Бывали и рахитичные дети,
Что вели свою хворую пляску,
Чьей бедной расческой,
Мелькавшей в окнах,
Душа моя, жалуясь, расчесывала
Свою неутешную грусть.
Бывали жалостные паралитики:
Казалось, всегда озябшие,
Прикрытые своими платками;
Уходили, покачиваясь, пьяные словно,
С подаванием в шляпах.
Бездомные странники,
Просившие разрешенья
Переспать на сеновале, на свежем сене,
И длинные-длинные выворачивали карманы
В доказательство того, что нет у них спичек.
Белые, облупленные палки, голодные сумки,
Пальцы, торчащие из башмаков; бродячая бедность
В солнечной пыли,
Под тяжелым свинцом дождей).

МИЛЫЕ ОБРАЗЫ

Голубые весенние воскресенья.
Снег на домах белыми париками.
Прогулки влюбленных вдоль каналов.
Печенье хлеба воскресным утром.
Мартовский дождь, стучащий по серым крышам.
Глициния вверх по стене, в цвету.
Белые шторы на монашеских окнах.
Колокола по субботам.
Свечи, затепленные перед мощами.
Зеркала, сияющие по комнатам.
Белые скатерти с алым цветочным узором.
Цвета крови закат, умирающий на стене.
Роз лепестки у больных на кровати.
Звуки рояля в праздничный день.
Где-то далеко пенье кукушки.
Кошки на подоконниках.
Белоснежные голуби на кровлях.
Мальвы в горшках.
Нищие за едой на церковных порогах.
Хворающие на солнце.
Девочки, расчесывающие золото возле дверей.
Женщины, поющие в окнах.

Альдо Палаццески

(1885—1974)

ПРОХОДЯТ МОНАШЕНКИ

Монашенки в белом, монашенки в черном.
С двух берегов не насмотрятся
друг на друга монастыри,
не насмотрятся взором старинного дружества
колоколенки — белые, черные.
Встречаются сестры с поклоном покорным
в сумерках вечера,
встречаются дважды — в белом, в черном —
все на том же мосту, которым
соединяются монастыри,
на мосту старинного дружества.
Колоколенки смотрят, одна другой улыбаясь,
та — белая, эта — черная.
Встречаются сестры с поклоном покорным
в сумерках вечера.
Открываются в сумерки двери церковок,
чинно сестры выходят, всходят на мост,
встретятся посередине — поклонятся,
черные белым, белые черным,
в церковки спешат на колено припасть.
Молитву краткую пролепечут —
и снова на мост, друг другу навстречу.
Снова друг другу кланяются,

эти в белом, а эти в черном,
встречаются сестры с поклоном покорным
вечером, в сумерках...

НА ПАЛАТИНСКОМ ХОЛМЕ

На пуховых подушках времени
пылающим летним днем
раскинулось тело.
Мысль вызвать не в силах
даже призрачной тени;
глаз примечает едва,
как паром прозрачным
поднимается воздух,
растворяемый зноем.
Испитые солнцем до дна,
камни белы, как надгробья без имени.
Легонько дрожит листва
под дыханием неба.
Чувства в острой своей отрешенности
улавливают лишь запах.
Настоящее наше смердит,
а будущее — смутное слово.
Прошлое смердеть перестало,
у него аромат засыхающих листьев...
У прошлого...

Коррадо Паволини

(род. в 1898 г.)

ЯВЛЕНИЕ

В груженом трюме чердака на рейде
у зрелой осени стоял густой
дух винограда, меда. Вдруг — я вижу —
зеленая приотворилась дверца.
То тишина была. Прошла, босая,
с улыбкою, меня не видя, мимо.
Ее лица я не запомнил — только
слепительную руку, крепость гипса,
упершегося в воздух. Я подумал
о жизни первой зелени, о листьях,
едва лишь развернувшихся навстречу
апрельской неге. Лучшее богатство
в растущем их младенчестве. Однако
я изумлен был сладким наваждением,
тем, что над слепком времени, над гипсом,
открыто небо для новорожденных.
Как линия холма берет у глыбы
сурово-утешительную стройность,
в безмолвии вершится труд любви.

РИСК

На мир, богатый красками, смотреть —
нескромность. Близко лето. В тихом вечере
благоуханье лиц и голос радио.

А в освещенных окнах, как на милой
картинке, мирно ужинают люди,
над скатертями белыми склоняясь,
далекие, но близкие душе.

И все предметы словно в рамках, странно
безмолвные и мелкие при лампах.

Всегдашний риск: воображенью верить
и падать в грязь. Сильнее бейся, сердце! —
чтоб ангелы, завязшие в быту,
хоть раз воображеньем обманулись.

Витторио Серени

(род. в 1913 г.)

ДИАНА

Снова былое небо твое
над плоской террасой Ломбардии,
синь прорезает густая зной облаков
и, прячась в глазах у тебя,
там отдыхает в покое.

Придут и минуты прохлады,
ветер прильнет к причалам Навильи,
и еще удалится от берега
даль небесного океана.

Вернешься ль и ты, Диана,
к многолюдным на улице столикам,
где пригубливают напитки
под высоко плывущей луной?

Оркестр верещит тихонько,
и вижу — в трепещущем воздухе
ты проходишь походкой плавной.

Становится вечером ласковой
твое горделивое имя, когда
его кто-то прошепчет чуть слышно.

Быстро июнь подступает,
и сухой цветок сна
зацветает в печальном пригороде.

И песня, которую, милая,
ты певала здесь, на земле,
томит и в памяти дышит
и тебя упрекает за смерть.

* *
*

Замешкалось время, поздно
о тебе говорить,
невзгода незрелых лет.

Город бледнел на ветру,
и радуга падала в пляску
отражений блаженных.
Была ты задумчивым тиканьем
часов у меня на руке,
шуршаньем страниц перелистанных,
наплывами солнца,
дремой просторных предместий,
просиявшей в лице,
столь знакомом,
в ясности глаз,
в дрожи прикосновенья.

Легкие тени мелькали: что ты принес?
Что подаришь?
Я улыбался друзьям, но они исчезли,
и выгиб дороги
пропадал огорченно вдали.

За бегом колес
в пепельном зное
на лугах потухали маки.
Но если тебя уже нет
и надо мной посрамленное небо —
я сам лишь неясственный отблеск,
голос ненужный в хоре.

Джорджо Капрони

(род. в 1912 г.)

* *
*

К твоему повисшему в воздухе
балкону
плывет из садов,
зацветающих пеплом мяты,
лето, уже в тревоге,
и щеки тебе
опаляет
лихорадочным жаром
гераней.
Привычным движеньем
ты закрываешь окно
и там, за стеклом,
в бледной прозрачности неба
с мельканьем стрижей,
от меня отдаленная,
тускнеешь безмолвно,
словно
в зеркале памяти.

1944

Тележки с молоком. А солнце — ой-ой! —
уж припекает собак!.. Но что это там
на мостовой собирает мешочница-смерть
под громыханье бутылок? В лицо —

лист ранней газеты с запахом едким
свинца. Ледяная вода хлынула в жилы
пробирающихся вдоль стен.
Сразу же — очередь. Звякает брюхо бидона
в пыли разрушенья. Любовь, о любовь!
Как ужасает рассвет! Из двери подъезда,
где первый звонок простонал,
не убегай, о любовь,
вместе с последним ночным теплом,
не скандируй утренний ритм,
когда твоя дрожь — в дроби моих зубов.

НА ОТКРЫТКЕ

Я узнал в забегаловке, что значит Аид,
зимой, когда я от голода стыну;
я узнал свою Прозерпину —
в обноски одета,
богиня мыла во мгле рассвета
замусоленное ртами стекло.
Узнал, как у входа прислоняет вело
иссуетившаяся душа,
затеряться спеша
между столиков черных
в смраде и скуке;
узнал зазябшие руки,
краснее сырого мяса, в мокрых опилках
перешаривающие полутьму;
узнал, как расплывшаяся в дыму
девчонка форсит затяжкой
и над своей неналитой чашкой
льнет к отчаянью моему.

Роберто Роверси

(род. в 1923 г.)

ПОРТРЕТ СТАРОГО ЧЕЛЬСО

У Чельсо бронзовое лицо,
как сосуд из древней гробницы.
Говорят — Чельсо жаден, жесток,
но я вечером видел: он плакал,
крик услышав моего мальчугана,
ужаленного осой.
Я знаю — он ночью сбегает по тропке
в сад воровать
пожелтевшие дыни и помидоры.
На рассвете он спугивает соловья
своим резким криком:
«Вор! Был вор, шлюхин сын,
лук молодой повыдрал,
весь сад разорил!»
В утреннем воздухе крик отдается
ударом хлыста, крепкий, звонкий.
Я видел, как в заросли сада
клонится старое тело,
как серый свет луны
шарит по сгорбленной тени.
Я знаю — надо простить старику.
Летним вечером Чельсо
садится в траву и долго, безмолвно
смотрит в небо. Он говорит:

«Я — несчастный», —
и голос его содрогается
страшной тоской. Он говорит:
«Я стар, я умру, лишь застонет земля
под волчьим шагом зимы.
Не хочу я зимой умирать —
один, как ягненок в хлеву».
Много у Чельсо рассказов про море,
глаза у него пиратские, большие и черные,
от многих обид ссохлась старая кожа.
Он говорит: «Кто любил меня, тех уже нет» —
и словно слышит близкую бурю.

* *
*

Полдень — господский час.
Над белоснежными скатертями
Изящно протянуты руки.
А под тутовником, развалясь,
на согнутом локте лицом,
не чуя слепней, комаров, ос,
забылся крестьянин.
Сопит, как псина сторожевая
с ремешком от шеи к колечку.
Самолет еле движется в небе,
за самолетом — медленно тающий вихрь.
Спит отец, спят Сильвестро и Артуро,
спят Мондина и Мария;
а Лино — тот глаз никак не сомкнет, усталый
счастливой усталостью, без забот.
С пересохшей гортанью, с переполненной грудью
мечтает о вечере — а вечер уж близок,
хоть пальцем достань. Будут собаки
сторожить палаты мужицкие,
лаем исходить на мазурки.

Будут парни хмельные
засыпать на девичьем сердце.
В косынке, с ожерельем коралловым
затанцует Мария с Марко,
Мондина — с Альбино, с извозчиком;
как из адского пламени спасшийся грешник,
рвать будет струны Артуро, чтоб легче плясалось,
разливаться трелями счастья при свете луны
всю ночь напролет, пока не устанет душа...
На дороге тогда
громыханье повозок, голоса прощальных приветствий —
тишина успокоит развеселую молодость.

Из румынской поэзии

Михаил Эминеску

(1850—1889)

ГЛОССА

День примчится, день умчится.
Все старо и вечно ново.
Зло, добро узнать случится,
Размышляй, ища благого.
Не надейся и не бойся.
Ты не верь волне текучей!
Пусть зовут — не беспокойся,
Сам себя ничем не мучай.

Много видим мы событий,
Много звуков ловим ухом —
Только помним ли, скажите,
Все уловленное слухом?
О себе предавшись думе,
Кто умнее, отстранится...
И пускай в житейском шуме
День примчится, день умчится!

На стальных весах мышленья,
Чуждых всякого пристрастья,
Полно взвешивать мгновенья,
Выверять личину счастья,
Порожденного мгновеньем, —
Вмиг пропасть оно готово!

Удовольствуйся суждением:
Все старо и вечно ново.

Знай, что ты живешь в театре.
Пусть актер гримасы строит,
Роль одну играет за три —
Но лица и грим не скроет!
Отойди... Ведь он, без чувства,
Тронуть сердце криком тщится.
И на поприще искусства
Зло, добро узнать случится.

Что прошло и что настало —
Одного листка страницы.
Узнает в конце начало
Дней постигший вереницы.
Все, что было, будет сущим.
Ты о бренности земного
В настоящем и грядущем
Размышляй, ища благого.

Знаешь сам, всего на свете
Распорядок изначален.
Длинный ряд тысячелетий
Мир и весел, и печален.
Те ж актеры в новом гриме...
Слушать их опять настройся,
Хоть давно обманут ими:
Не надейся и не бойся.

Подлецы, грязнее тины,
Строят мост к победам шумным.
Обойдут тебя кретины,
Будь ты хоть из умных умным.
Но не бойся, ты не робок:
Кончат дракой неминучей!

С ними ты не стой бок о бок...
Ты не верь волне текучей!

О, не верь, пловец, сирене!
Мир тебя в тенета тянет,
Чтоб других сменить на сцене,
Тащит в бездну, где и дна нет.
Осмотрительно, сторожко
Прокрадись и тихо скройся...
У тебя — своя дорожка,
Пусть зовут — не беспокойся!

Не польстись на их приветы,
Помолчи, когда клеветуют.
Знаешь сам, твои советы
Достоверностью не блещут.
Пусть болтают и бранятся —
Удались на всякий случай...
Да не надобно влюбляться:
Сам себя ничем не мучай.

*Сам себя ничем не мучай,
Пусть зовут — не беспокойся.
Ты не верь волне текучей!
Не надейся и не бойся.
Размышляй, ища благого.
Зло, добро узнать случится...
Все старо и вечно ново...
День примчится, день умчится...*

ПОСЛАНИЕ IV

Замок встал уединенный, отражен в воде озерной.
Он в глубинах век за веком тихо дремлет тенью черной.
Между сосен поредевших он угрюм и молчалив,
От него еще темнее вечно плещущий залив.

Складки длинных занавесок, в окнах стрелчатых мерца,
В легкой дрожи серебрятся, словно изморозь ночная.
Диск луны над темным лесом выше, ярче засверкал,
В небе контуры рисует куп древесных или скал.
А дубы, как великаны, неземной величины,
Словно клад необычайный, сторожат восход луны.

Плавно лебеди проплыли, шевельнув камыш прибрежный, —
И владычицы и гости этой влаги безмятежной —
И вытягивают крылья, отряхая капли-звезды,
А в воде круги трепещут иль огнистые борозды.
Тростники едва тревожат волн прибой неугомонный,
И в траве вздыхает нежно меж цветов кузнечик сонный.
Так ночные томны шумы, воздух летом напоен...

Только рыцарь одинокий страстно смотрит на балкон,
Чьи чугунные перила все одеты до отказа
В ветви гибкие глициний, в розы алые Шираза.
Опьянен печальный рыцарь негой вечера и вод.
И влюбленная гитара очарованно поет:

«Я молю, явись мне снова в шелке длинного покрова,
Вся мерцающая и сверкающая... О, молю, явись мне снова!
Я смотреть всю жизнь хотел бы на тебя в венце лучистом.
И чтоб ты рукой водила вдоль по прядям золотистым.
О, приди! Играй со мною... и с судьбой моей! Приди!
Мне цветочек брось, который на твоей увял груди!
Чтоб упал он на гитару и ответила б струна...
Что за ночь! Как будто снегом вся засыпана она...
Или мне дозволь проникнуть в твой альков благоуханный,
Дай льняных твоих полотен выпить запах несказанный.
Купидон, твой паж лукавый, охраняя наш покой,
Шар сиреневой лампы скроет сам своей рукой!»

И в тиши шуршанье шелка меж цветами раздалось —
Посреди глициний синих и ширазских алых роз.
Нежно девушка смеется и склоняется к перилам
И возлюбленному мнится серафимом легкокрылым.
Вот к устам прижала палец, розу бросила ему —
Иль журит?.. Так жарко что-то шепчет другу своему!..
Вдруг исчезла... Вдруг мелькнула между вьющихся

растений...

Взялись за руки и бродят две расплывчатые тени...
Рядом... Как они друг друга, оба юные, достойны:
Молод он, она красива, оба статны, оба стройны.
Вот из тени, где, чуть видны, берег с озером слились,
Плавню лодка выплывает, парус дремлющий повис.
Мерно всплескивают весла, этой плавностью движенья
Убаюкано так много красоты и упоенья!
А луна... луна всю землю озаряет понемногу,
Через озеро проводит огнезарную дорогу,
Где рождается мгновенно волн несчетных суета.
О луна, золотая дева, мрака вечная мечта!
Под растущим нежным светом лик меняется природы:
Словно стал обширней берег и просторней стали воды,
И приблизился как будто разрастающийся лес,
И луна, всех вод царица, в синеве ночных небес.
Густолиственные липы все усеяны цветами —
Тихо клонятся под ветром и цветы роняют сами,
И цветы на лоб девичий легким падают дождем.
Дева юношу за шею обняла и взор на нем,
Трепеща, остановила. «Я боюсь... Молчи!.. Не надо...
Ах! Слова твои, любимый, мне и ужас и отрада!
Я раба твоя, служанку ты возвысил против воли!
Вся краса моя и прелесть — лишь в твоей душевной боли.
Я страдаю, содрогаюсь, этот голос жжет огнем.
Все — не о любви ли сказка, потонувшая в былом?
Эти грезы, эти очи — под печальной пеленою.
Ты мой разум опалешь этой влажной глубиной!
Не гляди, мой друг, куда-то... Дай мне огненные очи!
Никогда я не насыщусь сладким пламенем их ночи!

Пусть ослепну — только б видеть! О, послушай, как над нами
Звезды вещие беседу с высоты ведут с волнами.
Бредит лес, а голубые родников нагорных струи
Говорят о нашем счастье, нашем первом поцелуе.
Звезд, мерцающих над бором, безучастная семья,
Это озеро и небо — все нам верные друзья.
Мог бы ты отбросить весла, руль оставить — и тогда
Понесла бы нас, помчала своенравная вода.
Поплывем же по теченью, а куда прибьет оно,
Все равно там счастье — жить ли, умереть ли суждено!»

.

Вот оно — воображенье! Одинокий, знаешь сам,
Как оно влечет безумно к тем озерам и лесам!
Где же, где такие страны? По каким искать широтам?
И когда все это было? В тысяча четырехсотом?
Нынче девушке подолгу ни к чему в глаза смотреть,
И нельзя ее, как хочешь, лаской нежною согреть,
Ни, уста к устам приблизив, замирая, с грудью грудь,
Вопрошать глазами: «Любишь? Откровенной только будь!»

Где там! Руку лишь протянешь, вдруг из двери — весь собор:
Дядя, тетя, сват, кухня — родственников полон двор!
Тотчас голову склоняешь и смиренно смотришь вбок...
Для любви на этом свете ныне есть ли уголок?
Словно мумии на стульях все сидят, оцепенели,
И мои, как камень, пальцы шевелятся еле-еле.
Пустишь дым, пересчитаешь даже волосы в усах
Да блеснешь, пожалуй, знаньем в кулинарных чудесах.

Жизнь такая надоела... Мы не пьем из этой чаши...
Но кругом — такая мерзость, и дела и мысли наши.
Из-за жалкого инстинкта царь вселенной слезы льет!
Ведь и птицами владеет это чувство дважды в год!
В нас другой живет хозяин — вдохновляет нас мечтами,
Восхищается, смеется, шепчет нашими устами.

Жизнь людская вся похожа на речное волнованье,
Ни конца ей, ни начала: Демиург — реки названье.
Иль не чуете, безумцы, что любовь у нас — чужая?
Иль не чуете, что чудом предстает вам дрянь любая?
Что любви инстинкт от века вам для нужд природы дан?
Что лишь ненависть возрастает из посеянных семян?
Ваши дети будут плакать, хоть смеетесь вы сейчас,
В том вина любви, что Каин в этом мире не угас!
О театр марионеток!.. Гул бессмысленнейших слов!
Всяким шуткам, анекдотам вторят на сто голосов!
Попугаи без рассудка!.. Повторяют, как актер,
Громко, сами пред собою, что твердилось с давних пор
И еще твердиться будет веки вечные, пока
Не угаснет солнце в бездне и забудут про века.
В час, когда луна крадется в темных тучах над пустыней,
С миром дум своих унылых ты ль поспеешь за богиней?
Можешь ты, бредя бульваром, гололедицей одетым,
Заглянуть в чужие окна с ослепительным их светом —
Средь бездельников заядлых ты заметишь дорогую,
Как она улыбки сыплет всем подряд напрапалую.
А кругом и шелест шелка, и бряцанье звонких шпор.
Франтам с усиками глазки строят женщины в упор.
Не смешно ли с нежным чувством замерзать перед парадным,
Коль она полна восторга перед вралем заурядным?
Как любить ее по-детски и упрямо рваться к цели,
Коль она непостоянна, словно непогодь в апреле?
Стоит ли терять рассудок? Не покажется ли плоским
Ею всею восхищаться, словно мрамором паросским
Иль картиною Корреджо, красотой его мадонн,
Если ветрена особа, холодна!.. Да ты смешон!
Да, и я мечтал когда-то о возлюбленной, о милой...
На меня б она смотрела, лишь задумаюсь, унылый,
Я бы знал, она бы знала, что любить не перестану,
Было б счастье бедной жизни в пору всякому роману.
Но теперь не жду я счастья. Где блаженство есть такое?
Хоть звучит все та же песня о несбыточном покое...

Но разбиты инструменты, и оркестр, увы, молчит.
Песня прежняя лишь редко, как ручей во тьме, журчит.
Лишь порой блеснет зарница, черной теменью объята,
Как из *Carmen Saeculare* * петь и я мечтал когда-то...
Незаконченная песня холодна теперь, сурова.
Свист, порывистые вопли — все в ней дико, звук и слово
Громоздятся хаотично, распадаясь, нарастая,
В голове бушует ветер, голова горит пустая...
Где прозрачные страницы, что писала жизнь сама?
Лири? — вдребезги разбита... Музыкант сошел с ума.

* «Песнь века» (*лат.*) — праздничное стихотворение у древних римлян.

Джордже Кошбук

(1866—1918)

ДОЙНА

Ты всегда готова, дойна,
Волю дать своим слезам!
А когда тебе взгрустнется,
Грустно, девушка, и нам.
Но твои отрадны слезы...
Лишь заплачешь, мы гурьбой
Станем вокруг — и сами плачем,
Услажденные тобой.
Плачет все с тобою вместе,
Всякий девушку поймет —
Этой жалостливой песней
Говорит простой народ.

Вечерком подружек встретишь
У колодца иль ручья.
Над девической душою
Всемогуща власть твоя.
Тайнам учишь их любовным,
И хитро смеется глаз...
А потом унылым песням
Обучаешь, омрачась.
С ними ты — на сенокосе
И когда с лугов идут
Иль в раздумье невеселом
На завалинках прядут.

Парни ль в армию уходят —
Провожаешь их, скорбя.
А потом — уходишь с ними,
Нет им жизни без тебя!
О соседке им напомним —
Как любились вечерком,
И о матери на ниве,
Сплошь заросшей сорняком.
А когда тоска замучит,
Соберутся, запоют.
Ты играешь им на дудке,
А солдаты слезы льют.

Молодые и седые
Выйдут в поле всем селом —
Ты, отзывчивая дойна,
С ними в поле золотом.
Сток мечи, коси пшеницу,
Знай себе снопы вяжи!
А когда ребенок малый
Вдруг заплачет у межи,
Ты возьмешь его, уложишь
Возле груди молодой,
Запоешь — и он задремлет
В холодочке за копной.
Ты любишься, как сумрак
Подползает к верху гор,
Внемлешь ты потоков горных
Неумолчный разговор,
Как, стеная, сосны бора
Тихо жалуется днем.
Слуху певческому дойны
Песня слышится во всем.
Иль одна, бродя со стадом,

В голубую глядя даль,
Ты вверяешь горным склонам
Сердца звучную печаль.

На бугре — румын с сохой.
Захирел, ослаб мужик —
Он врезает через силу
В землю твердую сошник.
Ты заметила беднягу,
И прошла по телу дрожь —
И уже с унылой песней
В ряд с волами ты идешь.
Смотрят добрыми глазами
На хозяина быки —
Понимают, видно, тоже,
Как страдают бедняки!

Раз я видел, как, святая,
Ты сияла красотой.
Старики вокруг стояли
Со склоненной головой.
Пела ты про жизнь былую,
Про иные времена,
Ты любимых, ты умерших
Поминала имена.
Пела доблестную песню —
И стоящие кругом
Навернувшиеся слезы
Утирали рукавом.

Но... Глаза твои темнеют!
Рядом — братья-гайдуки.
Ты клянешься, проклинаешь,
Гневно сжала кулаки!

Всех от барщины бежавших
С разоренного двора
Собрала ты ночью темной
Под дубами у костра.
Дик твой голос. Дойне вторит
Хор отверженцев лесных.
И воинственны их песни,
И мрачны, как души их.

Заодно ты с гайдуками,
Каждый — друг и побратим.
Их ведешь тропою тайной,
Спать на скалах стелешь им.
Как вдевают ногу в стремя,
Лошадь держишь за узду,
Лишь гайдук винтовку схватит,
Пули вынешь на ходу.
А как целятся, хохочешь —
Рада, если их свинец
Негодяю мироеду
Грудь пронижет наконец.

Мы — твои! С тобой не знатся
Может сын чужой страны.
Если ж мы утратим дойну —
Так на много ль мы годны?
Для тебя живем мы, дойна,
Будь же с нами, душу грей!
Мы бедны, но песню-дойну
Любим в бедности своей.
Повелительница наша,
Голос твой для нас — закон.
Научи нас плакать... Ныне
Каждый плакать лишь волен.

ВЕСЕННЯЯ ГРОЗА

Как некий изгнанный владыка
В страну, откуда изгнан он,
Назад стремится в злобе дикой,
Так туч мятежных легион
Мчал ветер с яростью великой.

Он выл, им указуя путь.
Неслась громада их слепая.
Казалось, в душу сея жуть,
Бесчисленная волчья стая
Стремится небо ужаснуть.

Дубравы огласились стоном,
Церквушку молния сожгла,
Колокола с их мирным звоном
Разбила... Страшные дела
Творились буйным легионом.

И вот последовала ночь.
Сгустился ад над окоемом.
Ей, видно, страх не превозмочь
Перед свершившимся разгромом —
И ночь поспешно мчится прочь.

Умчалась, медлить здесь не смеет.
Лихое воинство ушло
И там, вдали, свой ужас сеет.
А здесь по-прежнему светло.
И мартовское солнце греет.

Октавиан Гога

(1881—1938)

ПЕСНИ

I

Я в корчме сижу, на горке,
Трое суток, право слово.
Трое суток пью и скрипку
Лае слушаю Кривого.

Три дня бражничаю с горя —
А не легче, сердце ноет.
Полно, Лае! Даже скрипка
Боль мою не успокоит.

Спой про шитую сорочку,
Про сударку-чаровницу,
Про шинкарку молодую,
Синеокою Аницу.

Эх! Прошел и пост великий,
Значит, сев уж недалеко.
И шинкарь уехал в город...
Лист зеленый, лист широкий!

Лае, спой о белокурой
С телом стройным, знойной кожей.
Ты одним не видишь глазом —
И другой зажмурь-ка тоже!

II

Ну, шинкарь, ну, Николае, —
Что ж расскажем мы друг другу?
Бог блюди твою удачу,
Винный погреб и супругу!

В город ездил?.. А вино-то
У тебя кислит изрядно.
Эх! Зато трудолюбива
Женка, будь она неладна!

Выпей, кум, со мной сегодня!
Пью с тоски. Налей хмельного!
Все на свете будто слаще,
Если слушаешь Кривого.

Лае — пропади он вовсе! —
Зряч всего наполовину,
Да зато две песни знает:
Про любовь и про кручину.

Как начнет он про кручину —
Задрожит стакан немножко.
А как про любовь затянет —
Тут стакан бросай в окошко!

Эх, спалить бы всю деревню,
Чтобы сжег огонь, пылая,
Очи синие шинкарки!..
Выпьем, что ли, Николае!

Тудор Аргези

(1880—1967)

ДАКСКОЕ

Смотрю на хрупкий глиняный сосуд...
Здесь трех тысячелетий был приют,
Которым противопоставил
Ты обжиг свой, и каждый век оставил
Внутри тебя, храним твоим покоем,
Частицы тонкой пыли, слой за слоем.
Все возрасты веков сберег сосуд.
Мгновенья будут жить, века — умрут.

Ты полон тайны. Горлышко с надломом.
Ты долго спал под тучным черноземом.
Не сыщешь и костей руки счастливой,
Тебя покрывшей редкостной поливой.
Он глину мял — и родилась амфора.
А где же мастер? Нет и горсти сора.
Все станем почвой, жирной иль сухой...
Ты жив, он — нет. Таков удел людской.

Кровавым, потным ногтем он слегка
Вцарапал все же контуры цветка
В твоё бедро, обвел тебя каемкой.
Вдохнул он чувство в горло глины ломкой.
Жить можешь ты, он — бытия лишен,
Одним надрезом ногтя воскрешен!

Не одному Всевышнему служи ты,
Как ширь пустынь, иль звезды, иль луна.
И людям ты принадлежишь сполна.
Пусть руки мастера забыты,
Твой тронуть стан ладонь моя вольна.

Тебя поставил на руку гончар
И стукнул пальцем — гулко на удар
Ответил ты. И ныне звучно пенье
Пустынных недр, как в первый миг рожденья.
Кувшин из глины с мыслью пополам,
Он — голос дал тебе, я — слово дам.

Михай Бенюк

(род. в 1907 г.)

ЗВЕЗДА

Как и в прошлом, необъятно
Реют звезды, звезды-пятна,
Пятна света в небе ясном,
И безмолвном, и бесстрастном.

Как и в прошлом, двое нежных —
Но не тех же, но не прежних, —
Парень с ласковой девицей...
А лужок порос душицей.

Руку в руку, тихо, скромно,
Полу в шутку, полутомно
Погоуляем, помечтаем —
Не пахнет ли прежним маем?

В тишине ветвей уснувших
Вспомним звезды дней минувших —
Первой ту, что мы из дали
Призывали, страстно ждали.

Вспомним, милая, жасмины,
Георгины, бальзамины.
Нет — гвоздики! Их сначала,
Их, чье сердце ярко-ало!

Не жалею дней прошедших,
Звезд погасших, роз отцветших,
Ныне всё в цветах — едва ли
О таких мы и мечтали!

Люди, жизнь проходит мимо...
Та звезда неугасима —
Общий символ. А бывало,
Туча ясную скрывала

Ярко светит, нежно греет,
С ней душа цветет и зреет.
Светит, греет, нежит взоры,
Озаряет воды, горы...

И одно лишь мне тревожно:
Как же быть? Иль невозможно
Не расстаться с нею, вечной,
Нашей жизнью скоротечной,
Нам, цветами упоенным,
Нам, лучами опьяненным?

НАЧАЛО ОСЕНИ

Стала в доме осень обживаться,
Ну а осень — барыня с прохладцей!
И у вяза кудри пожелтели,
Шепчет он: «Знать, осень в самом деле!»

Уж грибы раскинули палатки,
В поле вьются шелковые прядки,
И зимовник, провожая лето,
Протянул ладонь за крошкой света.

С севера по голубым левадам
Мчатся тучи буйволиным стадом,
Борются, рогами тычут яро,
А внизу задумалась чинара.

Кукуруза — та зашелестела,
Что, мол, время мокнуть ей припело,
И початки молвили: «Мы знаем,
Развозить пора нас по сараям...»

Виноград перепугался зрелый.
Под хмельком сегодня виноделы,
Грозди в жом суют, а возле хаты
Жарятся на вертеле цыплята.

Школа вновь в осеннем шуме-гаме,
Дети мчатся — как за пирогами,
Летний лагерь хвалят пионеры,
Видно, что довольны свыше меры.

Я — п о э т , — взглянув с холма лесного,
Прошептал в раздумье: «Осень снова!»
Стал в лесу искать былые скорби.
Не нашел — они лежат во гробе.

Из болгарской поэзии

Иван Вазов

(1850—1921)

ГОРНЫЕ ЦВЕТЫ

На горе, в прохладе поднебесной,
У кого, цветы, вы на примете?
Кто вам дал ваш яркий цвет чудесный?
Кто лелеет вас, эфира дети?

Для кого растете вы, цветете
Под орлиным пристальным дозором?
Для какой любви веночек сплетете?
Чьей красы вы станете убором?

Чьей отваге станете наградой?
Где блистать вы будете на пире,
Горные цветы, очей отрада,
В золоте, багрянце и сапфире?

Право, здесь и умереть не трудно!
Над могилой — только неба своды.
Легок был бы сон мой непробудный
Средь цветов, покоя и свободы!

Елизавета Багряна

(род. в 1893 г.)

СИДЕТЬ, СКЛОНЯСЬ ДРУГ К ДРУГУ ГОЛОВАМИ

Сидеть, склоняясь друг к другу головами,
вот так... всю жизнь... чтоб поезд мчался вдаль,
голубоватый дым над деревнями...
Полей туманных дремная печаль...

Вот так, под шум колес, забыться снами,
склоняясь друг к другу... ничего не жаль!
А за окном над свежими лесами
прозрачная висит весны вуаль...

Когда б в мой смертный день, в мой час прощальный
ты был со мной, любимый друг и брат!
Я позабыть могла бы путь свой дальний,

всю горечь тайн, их потаенный клад,
осадок горьких встреч, разлук печальных,
наш странный мир волнений и утрат!

СТИХИИ

Горный ветер остановишь ли, через бездны пролетающий,
подымающий неистово тучи пыльные над гумнами,
стрехи хат, шатры холщовые у повозок обрывающий,
не щадя и тихой площади с малышами неразумными
в городе моем?

Остановишь ли ты Быстрицу, о поре весенней ярую,
льды ломающую звонкие, мост с могучими опорами,
силой мутной уносящую пастуха с его отарою,
наши садики и домики с воротами и заборами
в городе моем?

А вино ты остановишь ли, закипевшее, незрелое,
в мощных бочках замурованных, кем про всех пиры обещаны,
где сплетается кириллицей надпись «красное» иль «белое»
с завитками изощренными, что от дедов нам завещаны,
в городе моем?

А меня ты остановишь ли — кочевую, непокорную,
ветра, вод, вина кипучего — знаешь сам — сестрицу кровную,
что несется в непостижное, недоступное, просторное,
что в дорогу устремляется нетореную, неровную, —
остановишь ли?

Из словенской поэзии

Франце Прешерн

(1800—1849)

КРАСАВИЦА ВИДА

Молодица у моря стояла,
В морюшке пеленки полоскала.
Вот заморец черный едет в лодке,
Стал на берег, говорит красотке:

«Что ты, Вида, отцвела так рано?
Что так рано стала нерумяна?
А такой ли прежде ты бывала?»
И заморцу Вида отвечала:

«Я была б цветуща да румяна,
Кабы сердца не сжигала рана:
Дома у меня дитя больное!
Насоветовали мне худое.

Старика в мужья себе взяла я,
Оттого с тех пор невесела я —
Мне дитя больное сердце гложет,
Муж всю ночь откашляться не может».

Черный молвит ласково, не грубо:
«Если дома журавлю не любо,
Улетает он за сине море.
Поезжай со мной — забудешь горе.

За тобой, за дочьрю крестьянской,
Королевой послан я испанской.
Будет грудь твою сосать царевич,
Маленький испанский королевич.
Знай одно: чтоб засыпал он сладко,
Чтоб была постелена кроватька.
Пой тихонько, жди его дремоты —
Только и всего тебе работы».

И красотка Вида в лодку встала —
Тут земля от лодки отступала,
Середь моря лодка закачалась,
Разрыдалась Вида, раскричалась:
«Что ж я натворила, сиротина?
На кого ж оставила я сына,
Своего младенчика больного?
Старика недужного седого?»

Прокачались в море три недели,
В королевство дальнее приспели.
Встала Вида до восхода солнца,
Ожидала солнца у оконца.
Свое горе Вида утешала,
Ранним-рано солнце вопрошала:
«Солнышко ты, солнце золотое!
Что, скажи, дитя мое больное?» —
«Ни к чему теперь твои печали:
Мы вчера над ним свечу держали,
А твой муж совсем пропал из виду,
Где-то бродит, ищет свою Виду.
Ищет-рыщет, горестно рыдает,
Старческое сердце надрывает».

Ночью вышел месяц бледнолицый,
Заглянул в оконце к молодежи.
С бледнолицым Вида говорила,

Свою боль сердечную студила:
«Ты скажи, скажи мне, месяц ясный,
Что больной сыночек мой несчастный?» —
«Ни к чему теперь твои печали:
Мы его в могилку закопали.
Твой отец совсем пропал из виду,
Где-то бродит, ищет свою Виду.
Ищет-рыщет, горестно рыдает,
Старческое сердце надрывает».

Пуше Вида горько зарыдала.
Королева Виду повстречала.
«Ты о чем, красотка, изнываешь,
Днем и ночью слезы проливаешь?»
Отвечает Вида: «Королева,
Испугалась вашего я гнева:
Вашу чашку я недавно мыла,
Золотую в воду уронила,
Л окошко у меня высоко,
Под окошком морюшко глубоко».

Королева утешала Виду:
«Королю не дам тебя в обиду.
Не горюй: куплю себе другую
Дорогую чашку, золотую.
Дай же грудь ты моему сыночку —
Полно, Вида, плакать в одиночку!»

Королева чашку вновь купила,
Мужнин гнев от Виды отвратила,
А она томится, да все хуже,
Об сыночке, об отце да муже.

ВЕНОК СОНЕТОВ

1

Венок — словенцам новый дар поэта,
Пятнадцать раз повторенные звенья.
Объединяя все, для завершенья
Про «Главный путь» три раза будет спето.

Последний стих последнего терцета
И, стало быть, всего стихотворенья
В ближайшем первом ищет повторенья —
Течет сонет, излившись из сонета.

Так, из любви родясь, в нее же канут
Мои стихи. Сон станет явью снова,
Лишь рассветет. Я чувством не обманут.

Ты — главный путь. Мне нет пути иного.
На нем вовек звучать не перестанут
Хвала тебе и боль пережитого.

2

Хвала тебе и боль пережитого,
Когда с тобой я окажусь в разлуке
И дерн могильный скроет сердца м у к и, —
Славянам прозвучат, как речь живого.

Красавица тогда — как ты, сурова, —
Едва услышав сладостные звуки,
Раскроет сердце и протянет руки,
Любовь и верность восхвалить готова.

В те дни судьба крайнцев прояснится,
И улыбнутся с купола ночного
Нам хоры звезд, и песня обновится.

Но, верю я, у племени родного
И в дальние те годы сохранится
Мое из сердца выросшее слово.

3

Мое из сердца выросшее слово
Все вымолвит, что предварили взоры.
Как некогда певец Элеоноры,
Во власти я восторга неземного.

Певец молчал, любви не слыша зова,
Во тьме тонули юных дней просторы.
Лишенная надежды и опоры,
Таилась песнь страдальца молодого.

Желание во мне еще бушует,
Хоть нет надежд и мраком даль одета.
Боязнь тебя обидеть речь связует.

Я тоже нем — то гибели примета!
О, пусть мои страданья истолкует
Мой каждый стих — цветок в росе рассвета.

4

Мой каждый стих — цветок в росе рассвета —
Откроет тайну грусти молчаливой.
Ах, сердце стало цветником иль нивой,
Где горести взрастило страсти лето.

Ты — солнце песен. Что же луч привета
Не кинешь мне в окно? Тебя, ревнивый,
Ищу в театре, и в толпе шумливой,
И в вихре пар на зеркале паркета.

По городу в тревоге постоянной
Брожу напрасно. Затаился где-то
Твой лик прелестный, образ твой желанный.

И плачу я, что страсти нет ответа.
Венок стихов, тебе с любовью данн ый, —
Не из страны, что солнцем обогрета.

5

Не из страны, что солнцем обогрета,
Где нежный взор — влюбленному награда,
Где грусть бежит от ласкового взгляда,
Где всех страданий протекает Лета,

Где полны лица радости и света,
Где молкнет гром душевного разлада,
Где вольно песня льется, жизни рада,
Где дружество не ведало навета,

Где, благостным дождем любви омыта,
Лист распускает вешняя дубрава,
Где ветерку привольно даль открыта

О песнь моя, из края ты другого.
Ты расцвела, весной позабыта,
Без ветра воли — веянья благого.

6

Без ветра воли — веянья благого —
Терплю надменность милой королевы.
Стихи мои, не признаны нигде вы,
Хоть одобренья жаждете людского.

Охотницы до многого чужого,
К немецкому пристрастны наши девы,
И не по вкусу им мои напевы:
Родной Парнас моих стихов основа.

Сиротствуют словенские камни,
Мещане чтут чужое, то не н о в о , —
И мерзнут розы в жажде перемены,

Забутые средь поля снегового.
Их обступили скалы, словно стены,
Гнетут громады замка крепостного.

7

Гнетут громады замка крепостного,
Как при Орфее, в давние те годы
Пленившего фракийские народы
В горах Родопских Гема снегового.

Послало б небо нам певца такого!
Опять Орфей повел бы хороводы,
Согрел бы Крайну песнями свободы
И всех славян из племени любого.

Любовь к отчизне, бедствующей сирю,
Разжег бы в нас любимец Мусажета.
Сынов славян его сдружила б лира!

Так сладостна была бы песня эта,
Что радости исполнился б и мира
Край снежных бурь, не знающий расцвета.

8

Край снежных бурь, не знающий расцвета,
Уныл с тех пор, как опочил ты, Само.
Забвенья ветер носится упрямо
Над холмиком, где дремлет муж совета.

Пипиново ярмо на нас надето
Усобицей, хоть мы не знали срама:
Бой Витовца, восстанья, меч Ислама —
Вот что знавали мы в былые лета.

Минуло время подвигов и чести,
Их боевая доблесть не будила,
И ныне песен не запеть невесте.

Кого ж не стерло времени точило,
Те на Парнасе юном встали вместе —
Печаль стихи словенские вспоила.

9

Печаль стихи словенские вспоила —
Мои цветы, с Парнаса моего же.
Любовь к тебе и к родине так схожи:
Два пламени из одного горнила!

Как? Чтоб семья словенцев позабыла
Родную мать? Чтоб я не вызвал дрожи
В груди у той, что мне всего дороже?
Ах, эта мысль мне душу опалила!

Хочу пройти сквозь годы и пространства
В одном стихе с тобой — пусть ты далеко, —
Прославиться во имя постоянства.

Я знать хочу, что мы не ждем без прока:
Пробудится опять весь мир славянства,
Ждут наши дни живительного сока.

10

Ждут наши дни живительного сока,
Как роза милая — краса природы, —
Что, обольстясь улыбкою погоды,
Вдруг в феврале распустится до срока,

Но вновь головку склонит одиноко,
Лишь снег падет на горы, доли, воды,
И вновь дохнет мороз, и неба своды
Недвижная задернет поволока.

Я пил твой взгляд, сияла ты лучами,
Ты душу мне очами озарила.
Ростки любви тянулись к солнцу сами,

Но злобная зима их цвет убила,
На холоду остались сиротами —
Цветы во тьме произрастают хило.

11

Цветы во тьме произрастают хило!
Так и поэт: он предан славословью,
А червь тоски его упился кровью,
Толпа эриний путь загородила.

Как в оны дни богиня исцелила
Ореста душу, — так твоей любовью
Я был бы тоже возвращен здоровью,
И жизнь опять мне стала б не постыла.

Но молнией небесной сон минутный
Блеснул и скрылся во мгновенье ока,
И мрак вдвойне сгустился неприятный.

Я радости не вижу ни намека —
Как песне быть не скучной и не смутной!
Мои цветы не поднялись высоко.

12

Мои цветы не поднялись высоко,
Не зная ухода, никли сиротливо.
Так розы меж руин цветут красиво —
Затерянные дочери Востока.

Но сорняки стеснили их жестоко,
Их соки пьют; но глушит их крапива,
А посади на клумбу их — и живо
Сияли бы красою без порока.

Так близ тебя, владычицы надменной,
Души моей бесценного светила,
Мои стихи цвели бы несравненно!

Коль хочешь ты, чтоб кровь их не остыла,
Чтоб поднялись их головы мгновенно,
Взгляни на них, блесни улыбкой милой.

13

Взгляни на них, блесни улыбкой милой,
Дай своего лица мне зреть сиянье,
Тьма покорится власти обаянья,
Перед красой смутится бури сила.

Не стану я на мир смотреть уныло,
Спадут вериги тяжкие страданья.
Хочу, чтоб нежность твоего касанья
Еще открытой раны боль смирила.

Блеснут надежды, счастья предтечи,
Спадет с очей гнетущая морока,
И снова станут сладостными речи.

Сильна любовь, и выше нет урока.
Цветы стихов, счастливых после встречи,
Распустятся на диво, без упрека.

14

Распустятся на диво, без упрека,
Как расцветает роза над куртиной,
Едва зима уйдет с последней льдиной
И зашумит весной волна потока.

Летит пчела. Луга цветут широко,
Навстречу дню пастух бредет долиной,
Не молкнет в роще рокот соловьиный,
Все радостью проникнуто глубоко...

Нет, подойти я недостоин к счастью.
Боюсь: стихами пылкими задета,
Ты оскорбишься. Но, объятый страстью,

Стихами я лечусь — в том нет секрета,
И вот взывает к твоему участию
Венок — словенцам новый дар поэта.

15

Венок — словенцам новый дар поэта:
Хвала тебе и боль пережитого,
Мое из сердца выросшее слово,
Мой каждый стих — цветок в росе рассвета.

Не из страны, что солнцем обогрета,
Без ветра воли — веянья благого —
Гнетут громады замка крепостного
Край снежных бурь, не знающий расцвета.

Печаль стихи словенские вспоила,
Ждут наши дни живительного сока —
Цветы во тьме произрастают хило!

Мои цветы не поднялись высоко...
Взгляни на них, блесни улыбкой милой —
Распустятся на диво, без упрека!

Из чешской поэзии

Ян Коллар

(1793—1852)

СОНЕТ 46

Ночь луне, а утро солнцу радо,
Кормчая звезда пловцу мила.
Любит воду корень, мед — пчела,
Соловью отрадна рощ прохлада.

Тень — для пешехода, луг — для стада.
Хороши и крылья для орла,
Блеск венца — для гордого чела,
Мне же лишь тебя на свете надо!

По весне всего прекрасней мир,
Все уступят жемчугу камня,
Всех ветров пленительней зефир.

Пальма лучше всех иных дерев,
Роза краше всякого растенья —
Так и ты прелестнее всех дев.

СОНЕТ 387

Здесь, под липой, навевал мне сны
Ангел детства колыбельной сладкой,
Здесь играл я и сидел с тетрадкой —
Золотые дни моей весны!

Здесь мужал. Мы были влюблены.
Славы дочь встречал я здесь украдкой.
Но любовь была такою краткой!
Мы простились, мы разлучены.

Мне под липой музы лиру дали,
И с ветвей сонет сонету вслед,
Словно листья, мне на грудь слетали.

Здесь меня, под липой, схороните.
Мрамора не требует поэт —
Сенью Славы прах мой осените!

Из индийской поэзии
Рабиндранат Тагор
(1861—1941)

СЧАСТЬЕ

Сегодня безоблачно. Чист небосклон и глубок.
Нежнее улыбки дружеской ласкающий ветерок,
Обвевает грудь и лицо, тихонько пронесится мимо —
Словно одежды витают незримо
Спящей богини Заката. Лодка плывет
Вдоль Падмы спокойной, по лону недвижных вод.
Полузатопленный тянется берег песчаный
Длинной косой, словно выполз из океана
Сказочный зверь погреться на солнце. Тень,
В деревьях таясь, погрузила дома деревень
В сумрак. Виясь, полоска дороги,
Где оставили след прохожих бесчисленных ноги,
Мимо поля бежит окунуться в реку,
Подобна томимому жаждой, иссохшему языку.
Крестьянки, по шею в воде, ведут свои разговоры,
Неснятых одежд концы поток увлекает нескорый.
Милый слушаю смех, в привязанной сидя ладье,
Под легкий шорох волны, в блаженном своем забытьи.
Старый рыбак сети плетет; веселый
Скачет в брызгах, с хохотом громким, сынишка голый.
Падма, как мать, терпелива и с ним нестрога.
А я со своей ладьи люблюсь на берега.
Какая голубизна прозрачнейшая сегодня!

Какими цветами горят в сиянии полдня
Воды, земля и леса! Из рощи прибрежной
Ветер доносит нежный
Цветущих манго дыханье, порой
И усталое пение птицы... Покой
В душе у меня. В мгновения эти
Кажется: счастье так просто на свете!
Так аромат изливают деревья, цветы,
Так улыбается дитя,
Когда с доверьем своим беспечным
Ручонками тянется к первым встречным,
И щедрость младенческих влажных губок —
Словно амриты небесной кубок.
Флейты вселенной льются звучания
И погружаются в небо, в его голубое молчание.
Как передам эти звуки? В ритме каком,
Чтобы, слышные мне, откликнулись в сердце другом?
Обычным словом земным
Как передам этот дар тому, кто мною любим?
С какою улыбкой в глазах, с какой теплотою участия
Их в жизнь претворю?... Легкое счастье
В радости светлой внеси под кров своего
Тихого дома. Если ж стеснишь его,
Легкое счастье поникнет, без сил.
Миг — и исчезнет: счастье ты упустил!
В поисках долгих земные исходишь пути —
Но где же его найти?
С сердцем, полным до края и просветленным,
Я взором смотрел влюбленным
На тихие-тихие воды, на небо в лазоревом свете
И думал: счастья нетрудно достичь на свете.

ВЕНЧАНИЕ ЛЮБОВЬЮ

Ты меня в короли возвела. Меня облачила ты славой,
Увенчала плечи мои гирляндой цветов величавой.
Ночью и днем пылает огнем
Знак твой державный на лбу моем.
Королевским плащом ты одела мою наготу,
Смущенье прикрыла и нищету.
В прохладе души, не томя, не тревожа,
Ты усадила меня у ложа
Белоснежнее молока.
Мир — далеко, жизнь — далека.
Здесь, в отрешенье, поэты вселенной
Славят меня, звеня на лютне самозабвенной,
И едва долетают ко мне
Звуки извне —
Дней и ночей, земли и веков неустанное пенье,
Песня соединенья
И неуголимая песня разлуки, —
Тающие, изнывающие, неумолчные звуки.

Обитель любви!

Здесь на закате дня Дамаянти верная с Налем
Бродит по лесу вздыхающему, предавшемуся печалям.
Уже цветущее дерево вечерняя мгла окутала,
Сидит под цветущим деревом задумчивая Шаунтала,
Склонив лицо бледно-лунное в дрожащие лотосы-руки,
Изнемогая от муки, от жгучих страданий разлуки,
Себе надрывая сердце, покоя не зная ни часа,
Разносит по миру песню истерзанный Пурараваса.
Здесь, страдалицу-душу в разлуке звуками теша,
На вине своей Сарасвати играет у храма Махеша —
Окрашено утешеньем унынье струнной игры.
Здесь притворщик Фальгуни, таясь у подножья горы,
Перед смущенной Субхадрой любовных речей потоки
Изливает, целуя нежные щеки.

Здесь и Парвати неуголенная, в страстном порыве,
Обнимает колена нищему Шиве.

То в радости, то в унынье

С песней молящей струится здесь Мандакини,
И бледен цветущий лес, поникший от сострадания.
Печальная флейта звучит и напрасно жаждет свидания,
Друга зовет — когда же придет?

Твоя рука меж деревьев по роще меня ведет
В обитель прекрасного, к небожителям в храм,
В их вечный рай. Просияю всем трем мирам,
Божественно юными станут душа и тело.

Там желаньям моим не узнаю предела.

Там всеобщий кумир всю роскошь даров благотворных
Мне принесет. Там сонмы моих придворных —
Солнце, луна и звезды — оденутся в новые платья,
Новые песни мне запоют, и буду внимать я,
Смыслом новым их наполняя. И мир вокруг
Меня приветит, как добрый друг.

А здесь я — никто. Ничем не горжусь.

Как тысячи тысяч, несу незаметный груз

Бытия. Все здесь страдаем —

И я несчастен и презираем.

Из людского потока без лика и без числа,

Слугу вседневных забот, меня ты ввысь вознесла —

Зачем — не знаю! Королева моя, королева!

Те, что толкают меня в толпе то справа, то слева,

Даже в лицо не взглянув, мимо проходят беспечно, —

Знают они или нет, что стала плоть моя вечной

С тех пор, как денно и ночью я пил любви твоей мед?

О, кто поймет,

Что душа моя неизменно

В покрывале любви, что оно навеки нетленно?

Храню я любовь твою, ее золотые мгновенья.

Поцелуи, голос, прикосновенья

И взгляд — душою и телом его впитал я до дна,

Как луна, чья белая чаша полна
Амритой таинственной; как солнце вселенной,
Ревниво хранящее огонь священный
Всевышнего; как небосвод,
Что в сияющем лоне своем бережет
Лучи, струящиеся от стоп богини.
Меня в короли возвела ты, волшебница, ныне!

Из мадагаскарской поэзии

Жан Жозеф Рабеаривелу

(1901—1937)

ФИЛАУ

Филау царственный, о брат моей печали,
Рожденный за морем, в своем краю далеком.
Земля моих отцов, где стал ты на причале,
Благоприятна ли твоим природным сокам?

Ты, кажется, грустишь, ты вспоминаешь в горе
О пляске дев морских на берегу песчаном.
И видятся тебе безоблачные зори
Страны, гордившейся зеленым великаном.

Теперь кора твоя потрескалась в разлуке,
Ты обессиленно протягиваешь руки,
Привал залетных птиц, где не найти им тени.

И я бы вял в трудах бездумных и бескрылых,
Законам подчинясь чужих стихосложений,
Когда б не кровь отцов в малагасийских жилах.

ФЛЕЙТИСТЫ

Ты свою флейту
выточил
из хребта могучего тура,
отшлифовал на бесплодных холмах,
бичуемых солнцем.

Он свою флейту
вырезал из тростинки,
дрожащей под ветром,
проделал отверстия
у быстротекущей воды,
в опьянение от лунного света.

Вы играете оба, когда сгущается ветер,
словно замедлить стремитесь бег
круглой пироги,
готовой разбиться о берег неба,
избавить ее от судьбы.
Но заклинанья и жалобы ваши
услышат ли боги
ветра, земли, леса, песка?

Во флейте твоей —
топот взбешенного тура,
когда во всю прыть бежит он в пустыню
и снова бежит из пустыни,
сжигаемый жаждой и голодом,
и валит его усталость
под голое дерево
без плодов, без листвы.

А флейта его —
тростинка под тяжестью птички,
присевшей на перелете,

не пойманной мальчиком,
взъерошившейся от страха,
но отбившейся от стаи своих,
утешенной разве лишь собственной тенью
возле бегущей воды.

Флейта твоя,
флейта его —
обе тоскуют, что нет возврата
к тому, чем были они когда-то,
и жалуется, и поют.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>Е. Витковский. Странствие сквозь века</i>	5
--	---

ИЗ АНТИЧНОЙ ПОЭЗИИ

Софокл

Из трагедии «Эдип в Колоне»	15
Из трагедии «Трахинянки»	18
Из трагедии «Филоклет»	20

Еврипид

Из трагедии «Троянки»	29
---------------------------------	----

Гай Валерий Катулл

* 8. «О, перестань сходить с ума, Катулл бедный!..» . . .	32
*46. «Снова теплые дни весна приносит...»	33

*11. «Фурий и Аврелий, везде с Катуллом...»	33
*13. «Хорошо ты откушаешь, Фабулл мой...»	34
*70. «Милая мне говорит...»	34
*63. «Чрез моря промчался Атис...»	35

Альбий Тибулл

Из II книги «Элегий»

*Элегия I	38
---------------------	----

Секст Проперций

«Там, где блаженствуешь ты...»	41
--	----

Публий Вергилий Марон

Из книги «Буколики»

Эклога V	43
Эклога VII	46

Из книги «Георгию»

Книга вторая	49
------------------------	----

Квинт Гораций Флакк

Из книги «Оды»

9. К виночерпию Талиарху	66
37. К пирующим	67
30. К Мельпомене	68

Публий Овидий Назон

Из книги «Любовные элегии»	
5. «Жарко было в тот день...»	69
Из книги «Метаморфозы»	
«Чудом с братом своим...»	70
Из книги «Скорбные элегии»	
3. «Только представлю себе...»	79

ИЗ АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ

Омар ибн Аби Рабиа

«Кто болен любовью...»	83
«Вкушу ли я от уст моей желанной...»	84
«Возле Мекки ты видел...»	85

Абу Нувас

«Я с душой своей измученной...»	88
«О, сколько ночей, полыхавших созвездьями всеми...»	89
«Лишь заря под кровом ночи...»	90

ИЗ ЛАТИНСКОЙ ПОЭЗИИ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ

Иоанн Секунд

Из книги «Поцелуи»	
9. «Не все мне влажный ты поцелуй давай...»	92
12. «Что лицо отстраняете стыдливо...»	93

ИЗ НЕМЕЦКОЙ ПОЭЗИИ

Иоганн Вольфганг Гёте

Посвящение	95
Из книги «Новые песни»	
Близость любимого	99
Из книги «Западно-восточный диван»	
Геджра	99

ИЗ ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ

Жоашен Дю Белле

Пьеру де Ронсару	102
----------------------------	-----

Пьер де Ронсар

К своему лакею	105
Из цикла «Сонеты к Елене»	
«Сажаю в честь твою я дерево Кибелы...»	106
«Когда уж старенькой, со свечкой, перед жаром...»	107

Жан Расин

Из трагедии «Федра»	108
-------------------------------	-----

Альфред де Мюссе

О лени	112
------------------	-----

Леконт де Лиль

*Буколики	118
---------------------	-----

Шарль Бодлер

*Приглашение в путешествие	122
*Сосредоточенность	123

Поль Верлен

*Лунный свет	125
*Green	125

Франсис Жамм

*Столовая	127
*На этих днях начнется снег	128

Поль Валери

Морское кладбище	129
Пальма	134

ИЗ БЕЛЬГИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Эмиль Верхарн

Марина I	137
Марина III	137

ИЗ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПОЭЗИИ

Луиджи Пульчи

Большой Моргант (<i>отрывок</i>)	139
--	-----

Маттео Боярдо

Влюбленный Роланд (<i>отрывок</i>)	142
--	-----

Анджело Полициано

Сказание об Орфее (<i>отрывок</i>)	150
«Раз утром, девушки, я шла, гуляя...»	154

Микеланджело Буонарроти

Данте Алигьери	156
--------------------------	-----

Томмазо Кампанелла

I. Вступление	157
VI. Дух бессмертный	158

Джозуэ Кардуччи

Из книги «Варварские оды»	
Вступление	159
У терм Каракаллы	160

Коррадо Говони

Из книги «Отчий дом»

*«О мой дом деревенский древний...»	162
Милые образы	164

Альдо Палаццески

Проходят монашенки	165
На Палатинском холме	166

Коррадо Паволини

Явление	167
Риск	168

Витторио Серени

Диана	169
«Замешкалось время...»	170

Джорджо Капрони

«К твоему повисшему в воздухе балкону...»	172
1944	172
На открытке	173

Роберто Роверси

Портрет старого Чельсо	174
«Полдень — господский час...»	175

ИЗ РУМЫНСКОЙ ПОЭЗИИ

Михаил Эминеску

Глосса	177
Послание IV	179

Джордже Кошбук

Дойна	185
Весенняя гроза	189

Октавиан Гога

Песни	190
-----------------	-----

Тудор Аргези

Дакское	192
-------------------	-----

Михай Беник

Звезда	194
Начало осени	195

ИЗ БОЛГАРСКОЙ ПОЭЗИИ

Иван Вазов

Горные цветы	197
------------------------	-----

Елизавета Багряна

Сидеть, склоняясь друг к другу головами...	198
Стихии	199

ИЗ СЛОВЕНСКОЙ ПОЭЗИИ

Франце Прешерн

Красавица Вида	200
Венок сонетов	
1. «Венок — словенцам новый дар...»	203
2. «Хвала тебе и боль пережитого...»	203
3. «Мое из сердца выросшее слово...»	204
4. «Мой каждый стих...»	204
5. «Не из страны, что солнцем обогрета...»	205
6. «Без ветра воли...»	206
7. «Гнетут громады замка крепостного...»	206
8. «Край снежных бурь...»	207
9. «Печаль стихи словенские вспоила...»	207
10. «Ждут наши дни живительного сока...»	208
11. «Цветы во тьме произрастают хило!..»	208
12. «Мои цветы не поднялись высоко...»	209
13. «Взгляни на них...»	210
14. «Распустятся на диво...»	210
15. «Венок — словенцам новый дар...»	211

ИЗ ЧЕШСКОЙ ПОЭЗИИ

Ян Коллар

Сонет 46	212
Сонет 387	212

ИЗ ИНДИЙСКОЙ ПОЭЗИИ

Рабиндранат Тагор

Счастье	214
Венчание любовью	216

ИЗ МАДАГАСКАРСКОЙ ПОЭЗИИ

Жан Жозеф Рабеаривелу

Филау	219
Флейтисты	220

КРУГ ЗЕМНОЙ
Стихи зарубежных поэтов в переводе
С. В. Шервинского

ИБ № 2042

Редактор *В. П. Кузьмина*
Художественный редактор *А. П. Купцов*
Технический редактор *О. Н. Черкасова*
Корректор *В. М. Лебедева*

Сдано в набор 27.01.85. Подписано в печать 08.09.85.
Формат 70x100¹/₃₂. Бумага офсетная. Гарнитура «Тип таймс».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,35. Уч.-изд. л. 8,42.
Усл. кр.-отг. 17,66. Изд. № 1956. Тираж 10 000. Заказ 177. Цена 1 р. 10 к.

Издательство «Радуга»
Государственного комитета СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Москва, 119859, Зубовский бульвар, 17

Можайский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли.
Можайск, 143200, ул. Мира, 93